



Рождественские рассказы о детях

Произведения
русских писателей

Серия «Рождественский подарок»

Рождественский подарок

Сборник

Рождественские рассказы о детях

«Никея»

2023

УДК 821.161.1
ББК 84Р7

Сборник

Рождественские рассказы о детях / Сборник — «Никея»,
2023 — (Рождественский подарок)

ISBN 978-5-91761-779-4

Рождество и Новый год – самые детские праздники в году. Нарядные елки, игрушки и подарки, веселые, смеющиеся детские личики – такую радостную картинку рисует благосклонный читатель. И всем хочется, чтобы было так! А все иное пусть останется в прошлом, отойдет в глубокую даль, как истории из старинных журналов. В этом сборнике рассказы русских писателей дают пищу для ума и сердца, трогают до глубины души и призывают к нашей доброте, милосердию, деятельному добру, чтобы мы сами, наши дети и наша жизнь стали лучше и счастливее.

УДК 821.161.1

ББК 84Р7

ISBN 978-5-91761-779-4

© Сборник, 2023
© Никея, 2023

Содержание

Иероним Ясинский (1850–1931)	6
У детей на елке	6
Антон Чехов (1860–1904)	8
На пути	8
Варвара Андреевская (1848–1915)	17
Рождественская елочка	17
Лидия Авилова (1864–1943)	18
Маски	18
Евгений Салиас (1842–1908)	24
Две елки	24
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Рождественские рассказы о детях: Произведения русских писателей

Серия «Рождественский подарок»

Аверченко А.
Аверьянова Е.
Авилова Л.
Андреевская В.
Засодимский П.
Кондурушкин С.
Лейкин Н.
Салиас Е.
Соловьев-Несмелов Н.
Чехов А.
Ясинский И.

Допущено к распространению Издательским советом Русской Православной Церкви ИС
Р22-211-0252

НИКЕЯ 

© ООО ТД «Никея», 2023

Иероним Ясинский (1850–1931)

У детей на елке

Дети в нарядных пестрых платьицах и праздничных курточках застенчиво столпились в зале. Я вижу белокурые маленькие лица, вижу черные и серые глазки, с наивным любопытством устремленные на красивую гордую елку, сверкающую мишурным великолепием. Бонна зажигает свечи, и, точно пожар, вспыхивает елка в этой большой комнате, где кроме детей сидят поодаль взрослые – мужчины и дамы.

От елки по паркету вытянулись легкие причудливые тени, и на разноцветную толпу детей, точно на букет цветов, рассыпавшийся в беспорядке, падают яркие лучи.

Я люблю детей. Нельзя не заглядеться на этих милых крошек, чистых, как ангелы, с невинным прошедшим и с радужным будущим. Когда отцам цена грош, все надежды возлагаешь на детей. В самом деле, не стоило бы, да и нельзя было бы жить, если б не было детей. Жизнь точно река. Она берет начало из бесконечности и впадает в бесконечность. И если теперь волны ее мутны, то, может, со временем грязь осядет, и их сменят прозрачные, кристальные струи...

Я думал эту думу, глядя на детей. И меня особенно пленяла трехлетняя крошка, с коротко стриженными черными волосиками, с голыми пухлыми ручками, с голыми коленками. Она была в беленьком платьице, низко перевязанном лентой огненного цвета. Она посматривала на елку с восторгом и недоумением. Может быть, она первый раз видела елку. Но как только ей хотелось шумным движением выразить свою радость, она в страхе косилась на угол, где неподвижно стоял старик в черном сюртуке и с гладко выбритым лицом. Я вскоре заметил, что все дети боятся этого старика. Оттого они так застенчивы и так не по-детски приличны.

Когда детям были розданы подарки, и гувернантка заиграла на фортепьяно, и дети стали танцевать, чинно и скучно, каждый раз благодаря своих дам, усиленно шаркая ножкой и разговаривая между собою шепотом, я подозвал знакомую девочку-гимназистку и спросил:

– Скажите, кто этот старик?

Она покраснела, засмеялась и хотела убежать, но я удержал ее за руку.

– Отчего же вы не отвечаете?

– Это Старый год, я его так прозвала! – проговорила она чуть слышно, лукаво сверкнув своими карими глазками, и затем прибавила: – Потому что он самый старейший здесь! Сейчас тот мальчик рассказал нам, что Старый год ужасно злой. И бедная Соня, – она указала на крошечную девочку, которая мне так понравилась, – чуть не заплакала от страха... А знаете, мне пришла мысль назвать ее Новым годом... потому что она самая молоденькая!

Сказав это, гимназистка бросилась от меня со всех ног и, схватив Соню на руки, закружилась по комнате. Старик нахмурил густые седые брови, нижняя губа его отвисла. Соня увидела его и расплакалась. Дети, разыгравшиеся было, притихли.

Я подошел к старику. Он тупо взглянул на меня и сказал:

– Веселятся!.. Глупые! Поставь им елку, навешай того, сего, прочего, и довольно... Юный возраст! Юный возраст!

– Дети как дети, – произнес я, чувствуя себя почему-то неловко перед этим глубоким стариком.

– Это ваша девочка? – с кислой гримасой спросил он, указывая на гимназистку, издали посматривавшую на нас не очень-то дружелюбно.

– Нет. У меня нет детей.

– Счастливый человек вы, милостивый государь, – проговорил старик.

Я взглянул на него с изумлением.

– А у вас есть дети?

Старик отыскал глазами икону, висевшую в противоположном углу, и набожно сказал:

– Благодарение Господу Богу моему, не имел и не имею... И не буду иметь! Я ненавижу детей, – убежденно произнес он.

– Откуда ж у вас такая ненависть к детям? – спросил я.

– Я, милостивый государь, вот уж двадцать лет директором учебного заведения и имел время возненавидеть их...

Он распространился в описаниях детских шалостей; губа его отвисала все больше и больше, и было неприятно смотреть на его брезгливое и жестокое лицо.

Когда он кончил, я сказал:

– А ведь они не ошиблись. Вы знаете, все эти дети, вот эти милые, хорошие дети, с неиспорченными благоухающими сердцами, не любят вас. Эту девочку, вон видите, в беленьком платьице...

– Знаю я ее, скверная девочка, – проговорил старик.

– Так эту девочку, – продолжал я, – дети прозвали Новым годом, а вас – Старым годом.

И так как старый год был отвратительный год, то из этого вы можете заключить...

Старик посмотрел на меня, нахмурившись.

– Поверьте, что их наказывать надо. Сегодня елка, завтра розги. Я изумляюсь, милостивый государь, что вы находите в них милого и благоуханного. А впрочем – честь имею быть вашим покорнейшим слугою.

Он сухо и гневно поклонился. Больше мы не разговаривали. Ровно в двенадцать часов уехал этот старик. Моя гимназистка захлопала в ладоши. Маленьких увезли раньше. Остались только дети лет по десяти, по двенадцати. Но Соня тоже осталась. И когда, среди внезапного оживления, дети закружились с громким смехом около потухшей елки, крошечная девочка вертелась тут же, весело поедая конфеты, белая, как пушинка, в красном колпаке, доставшемся ей в подарок, и кричала:

– Я – Новый год! Я – Новый год!

Январь 1884

Антон Чехов (1860–1904)

На пути

*Ночевала тучка золотая
На груди утеса великана...*

Лермонтов

В комнате, которую сам содержатель трактира, казак Семен Чистоплюй, называет «проезжающей», то есть назначенной исключительно для проезжих, за большим некрашеным столом сидел высокий широкоплечий мужчина лет сорока. Облокотившись о стол и подперев голову кулаком, он спал. Огарок сальной свечи, воткнутый в баночку из-под помады, освещал его русую бороду, толстый широкий нос, загорелые щеки, густые черные брови, нависшие над закрытыми глазами... И нос, и щеки, и брови, все черты, каждая в отдельности, были грубы и тяжелы, как мебель и печка в «проезжающей», но в общем они давали нечто гармоническое и даже красивое. Такова уж, как говорится, планида русского лица: чем крупнее и резче его черты, тем кажется оно мягче и добродушнее. Одет был мужчина в господский пиджак, поношенный, но обшитый новой широкой тесьмой, в плюшевую жилетку и широкие черные панталоны, засунутые в большие сапоги.

На одной из скамей, непрерывно тянувшихся вдоль стены, на меху лисьей шубы спала девочка лет восьми, в коричневом платьице и в длинных черных чулках. Лицо ее было бледно, волосы белокуры, плечи узки, все тело худо и жидко, но нос выдавался такой же толстой и некрасивой шишкой, как и у мужчины. Она спала крепко и не чувствовала, как полукруглая гребенка, свалившаяся с головы, резала ей щеку.

«Проезжающая» имела праздничный вид. В воздухе пахло свежeweымытыми полами, на веревке, которая тянулась диагонально через всю комнату, не висели, как всегда, тряпки, и в углу, над столом, кладя красное пятно на образ Георгия Победоносца, теплилась лампадка. Соблюдая самую строгую и осторожную постепенность в переходе от Божественного к светскому, от образа, по обе стороны угла, тянулся ряд лубочных картин. При тусклом свете огарка и красной лампадки картины представляли из себя одну сплошную полосу, покрытую черными кляксами; когда же изразцовая печка, желая петь в один голос с погодой, с воем вдыхала в себя воздух, а поленья, точно очнувшись, вспыхивали ярким пламенем и сердито ворчали, тогда на бревенчатых стенах начинали прыгать румяные пятна, и можно было видеть, как над головой спавшего мужчины вырастали то старец Серафим, то шах Наср-Эддин, то жирный коричневый младенец, тарасивший глаза и шептавший что-то на ухо девице с необыкновенно тупым и равнодушным лицом...

Надворе шумела непогода. Что-то бешеное, злобное, но глубоко несчастное с яростью зверя металось вокруг трактира и старалось ворваться вовнутрь. Хлопая дверями, стуча в окна и по крыше, царапая стены, оно то грозило, то умоляло, а то утихало ненадолго и потом с радостным, предательским воем врывалось в печную трубу, но тут поленья вспыхивали, и огонь, как цепной пес, со злобой неся навстречу врагу, начиналась борьба, а после нее рыдания, визг, сердитый рев. Во всем этом слышались и злобствующая тоска, и неудовлетворенная ненависть, и оскорбленное бессилие того, кто когда-то привык к победам...

Очарованная этой дикой, нечеловеческой музыкой, «проезжающая», казалось, оцепенела навеки. Но вот скрипнула дверь, и в комнату вошел трактирный мальчик в новой коленкоро-

вой рубахе. Прихрамывая на одну ногу и моргая сонными глазами, он снял пальцами со свечи, подложил в печку поленьев и вышел. Тотчас же в церкви, которая в Рогачах находится в трехстах шагах от трактира, стали бить полночь. Ветер играл со звоном, как со снеговыми хлопьями; гоняясь за колокольными звуками, он кружил их на громадном пространстве, так что одни удары прерывались или растягивались в длинный, волнистый звук, другие вовсе исчезали в общем гуле. Один удар так явственно прогудел в комнате, как будто звонили под самыми окнами. Девочка, спавшая на лисьем меху, вздрогнула и приподняла голову. Минуту она глядела бессмысленно на темное окно, на Наср-Эддина, по которому в это время скользил багряный свет от печки, потом перевела взгляд на спавшего мужчину.

– Папа! – сказала она.

Но мужчина не двинулся. Девочка сердито сдвинула брови, легла и поджала ноги. За дверью в трактире кто-то громко и протяжно зевнул. Вскоре вслед за этим послышался визг дверного блока и неясные голоса. Кто-то вошел и, стряхивая с себя снег, глухо затопал валяными сапогами.

– Чиво? – лениво спросил женский голос.

– Барышня Иловайская приехала... – отвечал бас.

Опять завизжал дверной блок. Послышался шум ворвавшегося ветра. Кто-то, вероятно, хромой мальчик, подбежал к двери, которая вела в «проезжающую», почтительно кашлянул и тронул щеколду.

– Сюда, матушка-барышня, пожалуйста, – сказал певучий женский голос, – тут у нас чисто, красавица...

Дверь распахнулась, и на пороге показался бородатый мужик, в кучерском кафтане и с большим чемоданом на плече, весь, с головы до ног, облепленный снегом. Вслед за ним вошла невысокая, почти вдвое ниже кучера, женская фигура без лица и без рук, окутанная, обмотанная, похожая на узел и тоже покрытая снегом. От кучера и узла на девочку пахло сыростью, как из погреба, и огонь свечи заколебался.

– Какие глупости! – сказал сердито узел. – Отлично можно ехать! Осталось ехать только двенадцать верст, все больше лесом, и не заблудились бы...

– Заблудиться-то не заблудились бы, да кони не идут, барышня! – отвечал кучер. – И Господи Твоя воля, словно я нарочно!

– Бог знает куда привез... Но тише... Тут, кажется, спят. Ступай отсюда...

Кучер поставил на пол чемодан, причем с его плеч посыпались пласты снега, издал носом всхлипывающий звук и вышел. Затем девочка видела, как из середины узла вылезли две маленьких ручки, потянулись вверх и стали сердито распутывать путаницу из шалей, платков и шарфов. Сначала на пол упала большая шаль, потом башлык, за ним белый вязаный платок. Освободив голову, приезжая сняла салоп и сразу сузилась наполовину. Теперь уж она была в длинном сером пальто с большими пуговицами и с оттопыренными карманами. Из одного кармана вытащила она бумажный сверток с чем-то, из другого вязку больших, тяжелых ключей, которую положила так неосторожно, что спавший мужчина вздрогнул и открыл глаза. Некоторое время он тупо глядел по сторонам, как бы не понимая, где он, потом встряхнул головой, пошел в угол и сел... Приезжая сняла пальто, отчего опять сузилась наполовину, стащила с себя плисовые сапоги и тоже села.

Теперь уж она не походила на узел. Это была маленькая, худенькая брюнетка, лет 20, тонкая, как змейка, с продолговатым белым лицом и с вьющимися волосами. Нос у нее был длинный, острый, подбородок тоже длинный и острый, ресницы длинные, углы рта острые, и, благодаря этой всеобщей остроте, выражение лица казалось колючим. Затянутая в черное платье, с массой кружев на шее и рукавах, с острыми локтями и длинными розовыми пальчиками, она напоминала портреты средневековых английских дам. Серьезное, сосредоточенное выражение лица еще более увеличивало это сходство...

Брюнетка оглядела комнату, покосилась на мужчину и девочку и, пожав плечами, пересела к окну. Темные окна дрожали от сырого западного ветра. Крупные хлопья снега, сверкая белизной, ложились на стекла, но тотчас же исчезали, уносимые ветром. Дикая музыка становилась все сильнее...

После долгого молчания девочка вдруг заворочалась и сказала, сердито отчеканивая каждое слово:

– Господи! Господи! Какая я несчастная! Несчастней всех!

Мужчина поднялся и виноватой походкой, которая совсем не шла к его громадному росту и большой бороде, засеменял к девочке.

– Ты не спишь, дружок? – спросил он извиняющимся голосом. – Чего ты хочешь?

– Ничего не хочу! У меня плечо болит! Ты, папа, нехороший человек, и Бог тебя накажет! Вот увидишь, что накажет!

– Голубчик мой, я знаю, что у тебя болит плечо, но что же я могу сделать, дружок? – сказал мужчина тоном, каким подвыпившие мужья извиняются перед своими строгими супругами. – Это, Саша, у тебя от дороги болит плечо. Завтра мы приедем к месту, отдохнем, оно и пройдет...

– Завтра, завтра... Ты каждый день говоришь мне завтра. Мы еще двадцать дней будем ехать!

– Но, дружок, честное слово отца, мы приедем завтра. Я никогда не лгу, а если нас задержала вьюга, то я не виноват.

– Я не могу больше терпеть! Не могу, не могу!

Саша резко дрыгнула ногой и огласила комнату неприятным визгливым плачем. Отец ее махнул рукой и растерянно поглядел на брюнетку. Та пожала плечами и нерешительно подошла к Саше.

– Послушай, милая, – сказала она, – зачем же плакать? Правда, нехорошо, если болит плечо, но что же делать?

– Видите ли, сударыня, – быстро заговорил мужчина, как бы оправдываясь, – мы не спали две ночи и ехали в отвратительном экипаже. Ну, конечно, естественно, что она больна и тоскует... А тут еще, знаете ли, нам пьяный извозчик попался, чемодан у нас украли... метель все время, но к чему, сударыня, плакать? Впрочем, этот сон в сидячем положении утомил меня, и я точно пьяный. Ей-богу, Саша, тут и без тебя тошно, а ты еще плачешь!

Мужчина покрутил головой, махнул рукой и сел.

– Конечно, не следует плакать, – сказала брюнетка. – Это только грудные дети плачут. Если ты больна, милая, то надо раздеться и спать... Давай-ка разденемся!

Когда девочка была раздета и успокоена, опять наступило молчание. Брюнетка сидела у окна и с недоумением оглядывала трактирную комнату, образ, печку... По-видимому, ей казались странными и комната, и девочка с ее толстым носом, в короткой мальчишеской сорочке, и девочкин отец. Этот странный человек сидел в углу, растерянно, как пьяный, поглядывал по сторонам и мямл ладонью свое лицо. Он молчал, моргал глазами, и, глядя на его виноватую фигуру, трудно было предположить, чтоб он скоро начал говорить. Но первый начал говорить он. Погладив себе колени, кашлянув, он усмехнулся и сказал:

– Комедия, ей-богу... Смотрю и глазам своим не верю: ну, за каким лешим судьба загнала нас в этот поганый трактир? Что она хотела этим выразить? Жизнь выделяет иногда такие *sal to mortale*, что только гляди и в недоумении глазами хлопай. Вы, сударыня, далеко изволите ехать?

– Нет, недалеко, – ответила брюнетка. – Я еду из нашего имения, отсюда верст двадцать, в наш же хутор, к отцу и брату. Я сама Иловайская, ну и хутор также называется Иловайским, двенадцать верст отсюда. Какая неприятная погода!

– Чего хуже!

Вошел хромой мальчик и вставил в помадную банку новый огарок.

– Ты бы, хлопче, самоварчик нам поставил! – обратился к нему мужчина.

– Кто ж теперь чай пьет? – усмехнулся хромой. – Грех до обедни пить.

– Ничего, хлопче, не ты будешь гореть в аду, а мы...

За чаем новые знакомые разговорились. Иловайская узнала, что ее собеседника зовут Григорием Петровичем Лихаревым, что он родной брат тому самому Лихареву, который в одном из соседних уездов служит предводителем, и сам был когда-то помещиком, но «своевременно прогорел». Лихарев же узнал, что Иловайскую зовут Марьей Михайловной, что имение у ее отца громадное, но что хозяйничать приходится только ей одной, так как отец и брат смотрят на жизнь сквозь пальцы, беспечны и слишком любят борзых.

– Отец и брат на хуторе одни-одинешеньки, – говорила Иловайская, шевеля пальцами (в разговоре у нее была манера шевелить перед своим колючим лицом пальцами и, после каждой фразы, облизывать острым язычком губы), – они, мужчины, народ беспечный и сами для себя пальцем не пошевелинут. Воображаю, кто даст им разговеться! Матери у нас нет, а прислуга у нас такая, что без меня и скатерти путем не постелют. Можете теперь представить их положение! Они останутся без разговенья, а я всю ночь должна здесь сидеть. Как все это странно!

Иловайская пожала плечами, отхлебнула из чашки и сказала:

– Есть праздники, которые имеют свой запах. На Пасху, Троицу и на Рождество в воздухе пахнет чем-то особенным. Даже неверующие любят эти праздники. Мой брат, например, толкует, что Бога нет, а на Пасху первый бежит к заутрене.

Лихарев поднял глаза на Иловайскую и засмеялся.

– Толкуют, что Бога нет, – продолжала Иловайская, тоже засмеявшись, – но почему же, скажите мне, все знаменитые писатели, ученые, вообще умные люди, под конец жизни веруют?

– Кто, сударыня, в молодости не умел верить, тот не уверует и в старости, будь он хоть распереписатель.

Судя по кашлю, у Лихарева был бас, но, вероятно, из боязни говорить громко или из излишней застенчивости, он говорил тенором. Помолчав немного, он вздохнул и сказал:

– Я так понимаю, что вера есть способность духа. Она все равно что талант: с нею надо родиться. Насколько я могу судить по себе, по тем людям, которых видал на своем веку, по всему тому, что творилось вокруг, эта способность присуща русским людям в высочайшей степени. Русская жизнь представляет из себя непрерывный ряд верований и увлечений, а неверия или отрицания она еще, ежели желаете знать, и не нюхала. Если русский человек не верит в Бога, то это значит, что он верует во что-нибудь другое.

Лихарев принял от Иловайской чашку с чаем, отхлебнул сразу половину и продолжал:

– Я вам про себя скажу. В мою душу природа вложила необыкновенную способность верить. Полжизни я состоял, не к ночи будь сказано, в штате атеистов и нигилистов, но не было в моей жизни ни одного часа, когда бы я не веровал. Все таланты обнаруживаются обыкновенно в раннем детстве, так и моя способность давала уже себя знать, когда я еще под столом пешком ходил. Моя мать любила, чтобы дети много ели, и когда, бывало, кормила меня, то говорила: «Ешь! Главное в жизни суп!» Я верил, ел этот суп по десяти раз в день, ел, как акула, до отвращения и обморока. Рассказывала нянька сказки, и я верил в домовых, в леших, во всякую чертовщину. Бывало, краду у отца сулему, посыпаю ею пряники и ношу их на чердак, чтоб, видите ли, домовые поели и передохли. А когда научился читать и понимать читанное, то пошла писать губерния! Я и в Америку бегал, и в разбойники уходил, и в монастырь просился, и мальчишек нанимал, чтоб они меня мучили за Христа. И заметьте, вера у меня была всегда деятельная, не мертвая. Ежели я в Америку убежал, то не один, а совращал с собой еще кого-нибудь, такого же дурака, как я, и рад был, когда мерз за заставой и когда меня пороли; ежели в разбойники уходил, то возвращался непременно с разбитой рожей. Беспокойнейшее детство, я вам доложу! А когда меня отдали в гимназию и осыпали там всякими истинами вроде того, что

земля ходит вокруг солнца или что белый цвет не белый, а состоит из семи цветов, закружилась моя головушка! Все у меня полетело кувырком: и Навин, остановивший солнце, и мать, во имя пророка Илии отрицавшая громоотводы, и отец, равнодушный к истинам, которые я узнал. Мое прозрение вдохновило меня. Как шальной, ходил я по дому, по конюшням, проповедовал свои истины, приходил в ужас от невежества, пылал ненавистью ко всем, кто в белом цвете видел только белое... Впрочем, все это пустяки и мальчишество. Серьезные же, так сказать, мужественные увлечения начались у меня с университета. Вы, сударыня, изволили где-нибудь окончить курс?

– В Новочеркаске, в Донском институте.

– А на курсах не были? Стало быть, вы не знаете, что такое науки. Все науки, сколько их есть на свете, имеют один и тот же паспорт, без которого они считают себя невыносимыми: стремление к истине! Каждая из них, даже какая-нибудь фармакогнозия, имеет свою цель не пользу, не удобства в жизни, а истину. Замечательно! Когда вы принимаетесь изучать какую-нибудь науку, то вас прежде всего поражает ее начало. Я вам скажу, нет ничего увлекательнее и грандиознее, ничто так не ошеломляет и не захватывает человеческого духа, как начало какой-нибудь науки. С первых же пяти-шести лекций вас уже окрыляют самые яркие надежды, вы уже кажетесь себе хозяином истины. И я отдался наукам беззаветно, страстно, как любимой женщине. Я был их рабом и, кроме них, не хотел знать никакого другого солнца. День и ночь, не разгибая спины, я зубрил, разорялся на книги, плакал, когда на моих глазах люди эксплуатировали науку ради личных целей. Но я недолго увлекался. Штука в том, что у каждой науки есть начало, но вовсе нет конца, все равно как у периодической дроби. Зоология открыла 35 000 видов насекомых, химия насчитывает 60 простых тел. Если со временем к этим цифрам прибавится справа по десяти нолей, зоология и химия так же будут далеки от своего конца, как и теперь, а вся современная научная работа заключается именно в приращении цифр. Сей фокус я уразумел, когда открыл 35 001-й вид и не почувствовал удовлетворения. Ну-с, разочарования я не успел пережить, так как скоро мною овладела новая вера. Я ударился в нигилизм с его прокламациями, черными переделами и всякими штуками. Ходил я в народ, служил на фабриках, в смазчиках, бурлаках. Потом, когда, шатаюсь по Руси, я понюхал русскую жизнь, я обратился в горячего поклонника этой жизни. Я любил русский народ до страдания, любил и веровал в его Бога, в язык, творчество... И так далее, и так далее... В свое время был я славянофилом, надоедал Аксакову письмами, и украинофилом, и археологом, и собирателем образцов народного творчества... увлекался я идеями, людьми, событиями, местами... увлекался без перерыва! Пять лет тому назад я служил отрицанию собственности; последней моей верой было непротивление злу.

Саша прерывисто вздохнула и задвигалась. Лихарев поднялся и подошел к ней.

– Дружочек мой, не хочешь ли чаю? – спросил он нежно.

– Пей сам! – грубо ответила девочка.

Лихарев сконфузился и виноватой походкой вернулся к столу.

– Значит, вам весело жилось, – сказала Иловайская. – Есть о чем вспомнить.

– Ну да, все это весело, когда сидишь за чаем с доброй собеседницей и болтаешь, но вы спросите, во что мне обошлась эта веселость? Что стоило мне разнообразие моей жизни? Ведь я, сударыня, веровал не как немецкий доктор философии, не цирлих-манирлих, не в пустыне я жил, а каждая моя вера гнула меня в дугу, рвала на части мое тело. Судите вы сами. Был я богат, как братья, но теперь я нищий. В чаду увлечений я ухлопал и свое состояние и женино – массу чужих денег. Мне теперь 42 года, старость на носу, а я бесприютен, как собака, которая отстала ночью от обоза. Во всю жизнь мою я не знал, что такое покой. Душа моя беспрерывно томилась, страдала даже надеждами... Я изнывал от тяжкого беспорядочного труда, терпел лишения, раз пять сидел в тюрьме, таскался по Архангельским и Тобольским губерниям... вспоминать больно! Я жил, но в чаду не чувствовал самого процесса жизни. Верите ли, я не

помню ни одной весны, не замечал, как любила меня жена, как рождались мои дети. Что еще сказать вам? Для всех, кто любил меня, я был несчастьем... Моя мать вот уже 15 лет носит по мне траур, а мои гордые братья, которым приходилось из-за меня болеть душой, краснеть, гнуть свои спины, сорить деньгами, под конец возненавидели меня, как отраву.

Лихарев поднялся и опять сел.

– Если б я был только несчастлив, то я возблагодарил бы Бога, – продолжал он, не глядя на Иловайскую. – Мое личное несчастье уходит на задний план, когда я вспоминаю, как часто в своих увлечениях я был нелеп, далек от правды, несправедлив, жесток, опасен! Как часто я всей душой ненавидел и презирал тех, кого следовало бы любить, и – наоборот. Изменял я тысячу раз. Сегодня я верую, падаю ниц, а завтра уж я трусом бегу от сегодняшних моих богов и друзей и молча глотаю подлца, которого пускают мне вслед. Бог один видел, как часто от стыда за свои увлечения я плакал и грыз подушку. Ни разу в жизни я умышленно не солгал и не сделал зла, но нечиста моя совесть! Сударыня, я не могу даже похвастать, что на моей совести нет ничьей жизни, так как на моих же глазах умерла моя жена, которую я изнурил своею бесшабашностью. Да, моя жена! Послушайте, у нас в общежитии преобладают теперь два отношения к женщинам. Одни измеряют женские черепа, чтоб доказать, что женщина ниже мужчины, ищут ее недостатков, чтоб глумиться над ней, оригинальничать в ее же глазах и оправдать свою животность. Другие же из всех сил стараются поднять женщину до себя, т. е. заставить ее зазубрить 35 000 видов, говорить и писать те же глупости, какие они сами говорят и пишут...

Лицо Лихарева потемнело.

– А я вам скажу, что женщина всегда была и будет рабой мужчины, – заговорил он басом, стукнув кулаком по столу. – Она нежный, мягкий воск, из которого мужчина всегда лепил все, что ему угодно. Господи Боже мой, из-за грошového мужского увлечения она стригла себе волосы, бросала семью, умирала на чужбине... Между идеями, для которых она жертвовала собой, нет ни одной женской... Беззаветная, преданная раба! Черепов я не измерял, а говорю это по тяжкому, горькому опыту. Самые гордые самостоятельные женщины, если мне удавалось сообщать им свое вдохновение, шли за мной, не рассуждая, не спрашивая и делая все, что я хотел; из монашенки я сделал нигилистку, которая, как потом я слышал, стреляла в жандарма; жена моя не оставляла меня в моих скитаниях ни на минуту и, как флюгер, меняла свою веру параллельно тому, как я менял свои увлечения.

Лихарев вскочил и заходил по комнате.

– Благородное, возвышенное рабство! – сказал он, всплескивая руками. – В нем-то именно и заключается высокий смысл женской жизни! Из страшного сумбура, накопившегося в моей голове за все время моего общения с женщинами, в моей памяти, как в фильтре, уцелели не идеи, не умные слова, не философия, а эта необыкновенная покорность судьбе, это необычайное милосердие, всепрощение...

Лихарев сжал кулаки, усталился в одну точку и с каким-то страстным напряжением, точно обсасывая каждое слово, процедил сквозь сжатые зубы:

– Эта... эта великодушная выносливость, верность до могилы, поэзия сердца... Смысл жизни именно в этом безропотном мученичестве, в слезах, которые размягчают камень, в безграничной, всепрощающей любви, которая вносит в хаос жизни свет и теплоту...

Иловайская медленно поднялась, сделала шаг к Лихареву и впила глазами в его лицо. По слезам, которые блестели на его ресницах, по дрожавшему, страстному голосу, по румянцу щек для нее ясно было, что женщины были не случайною и не простою темою разговора. Они были предметом его нового увлечения или, как сам он говорил, новой веры! Первый раз в жизни Иловайская видела перед собой человека увлеченного, горячо верующего. Жестикуюлируя, сверкая глазами, он казался ей безумным, иступленным, но в огне его глаз, в речи, в

движениях всего большого тела чувствовалось столько красоты, что она, сама того не замечая, стояла перед ним как вкопанная и восторженно глядела ему в лицо.

– А возьмите вы мою мать! – говорил он, протягивая к ней руки и делая умоляющее лицо. – Я отравил ее существование, обесславил, по ее понятиям, род Лихаревых, причинил ей столько зла, сколько может причинить злейший враг, и – что же? Братья выдают ей гроши на просфоры и молебны, а она, насилуя свое религиозное чувство, копит эти деньги и тайком шлет их своему беспутному Григорию! Одна эта мелочь воспитает и облагородит душу гораздо сильнее, чем все теории, умные слова, 35 000 видов! Я вам могу тысячу примеров привести. Да вот хоть бы вас взять! Надворе вьюга, ночь, а вы едете к брату и отцу, чтобы в праздник согреть их лаской, хотя они, быть может, не думают, забыли о вас. А погодите, полюбите человека, так вы за ним на Северный полюс пойдете. Ведь пойдете?

– Да, если... полюблю.

– Вот видите! – обрадовался Лихарев и даже ногою притопнул. – Ей-богу, так я рад, что с вами познакомился! Такая добрая моя судьба, все я с великолепными людьми встречаюсь. Что ни день, то такое знакомство, что за человека просто бы душу отдал. На этом свете хороших людей гораздо больше, чем злых. Вот подите же, так мы с вами откровенно и по душам поговорили, как будто сто лет знакомы. Иной раз, доложу я вам, лет десять крепишься, молчишь, от друзей и жены скрытничает, а встретишь в вагоне кадета и всю ему душу выболтаешь. Вас я имею честь видеть только первый раз, а покался вам, как никогда не каялся. Отчего это?

Потирая руки и весело улыбаясь, Лихарев прошелся по комнате и опять заговорил о женщинах. Между тем зазвонили к заутрене.

– Господи! – заплакала Саша. – Он своими разговорами не дает мне спать!

– Ах да! – спохватился Лихарев. – Виноват, дружок. Спи, спи... Кроме нее у меня еще двое мальчиков есть, – зашептал он. – Те, сударыня, у дяди живут, а эта не может и дня продышать без отца. Страдает, ропщет, а липнет ко мне, как муха к меду. Я, сударыня, заболтался, а оно бы и вам не мешало отдохнуть. Не угодно ли, я сделаю вам постель?

Не дожидаясь позволения, он встряхнул мокрый салоп и растянул его по скамье, мехом вверх, подобрал разбросанные платки и шали, положил у изголовья свернутое в трубку пальто, и все это молча, с выражением подобострастного благоговения на лице, как будто возился не с женскими тряпками, а с осколками освященных сосудов. Во всей его фигуре было что-то виноватое, конфузливое, точно в присутствии слабого существа он стыдился своего роста и силы...

Когда Иловайская легла, он потушил свечку и сел на табурет около печки.

– Так-то, сударыня, – шептал он, закуривая толстую папиросу и пуская дым в печку. – Природа вложила в русского человека необыкновенную способность верить, испытующий ум и дар мыслительства, но все это разбивается в прах о беспечность, лень и мечтательное легкомыслие... Да-с...

Иловайская удивленно вглядывалась в потемки и видела только красное пятно на образе и мелькание печного света на лице Лихарева. Потемки, колокольный звон, рев метели, хромым мальчик, ропшущая Саша, несчастный Лихарев и его речи – все это мешалось, выросло в одно громадное впечатление, и мир Божий казался ей фантастичным, полным чудес и чарующих сил. Все только что слышанное звучало в ее ушах, и жизнь человеческая представлялась ей прекрасной, поэтической сказкой, в которой нет конца.

Громадное впечатление росло и росло, заволокло собой сознание и обратилось в сладкий сон. Иловайская спала, но видела лампадку и толстый нос, по которому прыгал красный свет.

Слышала она плач.

– Дорогой папа, – нежно умолял детский голос, – вернемся к дяде! Там елка! Там Степа и Коля!

– Дружочек мой, что же я могу сделать? – убеждал тихий мужской бас. – Пойми меня! Ну, пойми!

И к детскому плачу присоединился мужской. Этот голос человеческого горя среди воя непогоды коснулся слуха девушки такой сладкой, человеческой музыкой, что она не вынесла наслаждения и тоже заплакала. Слышала она потом, как большая черная тень тихо подходила к ней, поднимала с полу упавшую шаль и кутала ее ноги.

Разбудил Иловайскую странный рев. Она вскочила и удивленно поглядела вокруг себя. В окна, наполовину занесенные снегом, глядела синева рассвета. В комнате стояли серые сумерки, сквозь которые ясно вырисовывались и печка, и спавшая девочка, и Наср-Эддин. Печь и лампадка уже потухли. В раскрытую настежь дверь видна была большая трактирная комната с прилавком и столами. Какой-то человек, с тупым, цыганским лицом, с удивленными глазами, стоял посреди комнаты на луже растаявшего снега и держал на палке большую красную звезду. Его окружала толпа мальчишек, неподвижных, как статуи, и облепленных снегом. Свет звезды, проходя сквозь красную бумагу, румянил их мокрые лица. Толпа беспорядочно редела, и из ее рева Иловайская поняла только один куплет:

Гей, ты, хлопчик маненький,
Бери ножик тоненький,
Убьем, убьем жида,
Прискорбного сына...

Около прилавка стоял Лихарев, глядел с умилением на певцов и притопывал в такт ногой. Увидев Иловайскую, он улыбнулся во все лицо и подошел к ней. Она тоже улыбнулась.

– С праздником! – сказал он. – Я видел, вы хорошо спали.

Иловайская глядела на него, молчала и продолжала улыбаться.

После ночных разговоров он уж казался ей не высоким, не широкоплечим, а маленьким, подобно тому, как нам кажется маленьким самый большой пароход, про который говорят, что он проплыл океан.

– Ну, мне пора ехать, – сказала она. – Надо одеваться. Скажите, куда же вы теперь направляетесь?

– Я-с? На станцию Клинушки, оттуда в Сергиево, а из Сергиева 40 верст на лошадях в угольные шахты одного дурня, некоего генерала Шашковского. Там мне братья место управляющего нашли... Буду уголь копать.

– Позвольте, я эти шахты знаю. Ведь Шашковский мой дядя. Но... зачем вы туда едете? – спросила Иловайская, удивленно оглядывая Лихарева.

– В управляющие. Шахтами управлять.

– Не понимаю! – пожала плечами Иловайская. – Вы едете в шахты. Но ведь там голая степь, безлюдье, скука такая, что вы дня не проживете! Уголь отвратительный, никто его не покупает, а мой дядя маньяк, деспот, банкрот... Вы и жалованья не будете получать!

– Все равно, – сказал равнодушно Лихарев. – И за шахты спасибо.

Иловайская пожала плечами и в волнении заходила по комнате.

– Не понимаю, не понимаю! – говорила она, шевеля перед своим лицом пальцами. – Это невозможно и... и неразумно! Вы поймите, что это... это хуже ссылки, это могила для живого человека! Ах, Господи! – горячо сказала она, подходя к Лихареву и шевеля пальцами перед его улыбающимся лицом; верхняя губа ее дрожала и колючее лицо побледнело. – Ну, представьте вы голую степь, одиночество. Там не с кем слова сказать, а вы... увлечены женщинами! Шахты и женщины!

Иловайская вдруг устыдилась своей горячности и, отвернувшись от Лихарева, отошла к окну.

– Нет, нет, вам туда нельзя ехать! – сказала она, быстро водя пальцем по стеклу.

Не только душой, но даже спиной ощущала она, что позади нее стоит бесконечно несчастный, пропащий, брошенный человек, а он, точно не сознавая своего несчастья, точно не он плакал ночью, глядел на нее и добродушно улыбался. Уж лучше бы он продолжал плакать! Несколько раз в волнении прошлась она по комнате, потом остановилась в углу и задумалась. Лихарев что-то говорил, но она его не слышала. Повернувшись к нему спиной, она вытащила из портмоне четвертную бумажку, долго мяла ее в руках и, оглянувшись на Лихарева, покраснела и сунула бумажку к себе в карман.

За дверью послышался голос кучера. Иловайская молча, со строгим, сосредоточенным лицом, стала одеваться. Лихарев кутал ее и весело болтал, но каждое его слово ложилось на ее душу тяжестью. Невесело слушать, когда балагурят несчастные или умирающие.

Когда было кончено превращение живого человека в бесформенный узел, Иловайская оглядела в последний раз «проезжающую», постояла молча и медленно вышла. Лихарев пошел проводить ее...

А на дворе все еще, Бог знает чего ради, злилась зима. Целые облака мягкого крупного снега беспокойно кружились над землей и не находили себе места. Лошади, сани, деревья, бык, привязанный к столбу, – все было бело и казалось мягким, пушистым.

– Ну, дай Бог вам, – бормотал Лихарев, усаживая Иловайскую в сани. – Не поминайте лихом...

Иловайская молчала. Когда сани тронулись и стали объезжать большой сугроб, она оглянулась на Лихарева с таким выражением, как будто что-то хотела сказать ему. Тот подбежал к ней, но она не сказала ему ни слова, а только взглянула на него сквозь длинные ресницы, на которых висли снежинки...

Сумела ли в самом деле его чуткая душа прочесть этот взгляд или, быть может, его обмануло воображение, но ему вдруг стало казаться, что еще бы два-три хороших, сильных штриха, и эта девушка простила бы ему его неудачи, старость, бездолие и пошла бы за ним, не спрашивая, не рассуждая. Долго стоял он как вкопанный и глядел на след, оставленный полозьями. Снежинки жадно садились на его волоса, бороду, плечи... Скоро след от полозьев исчез, и сам он, покрытый снегом, стал походить на белый утес, но глаза его все еще искали чего-то в облаках снега.

1886

Барвара Андреевская (1848–1915)

Рождественская елочка

На дворе стоял очень сильный мороз, но солнышко светило весело.

Дело подходило к рождественским праздникам, и по улицам Петербурга было заметно особенное оживление.

Каждый спешил что-нибудь купить своим детям к предстоящему празднику, и кто пешком, кто на извозчике, а кто в собственном экипаже – видимо, возвращался домой, нагруженный различными лакомствами и игрушками.

– Счастливые, – слабеньким голоском проговорила маленькая, бледная и очень плохо одетая девочка, сидевшая около тусклого оконца в подвальном этаже высокого каменного дома. – Счастливы те дети, у которых родители богаты и могут сделать им елку, а мне так и думать о чем-нибудь подобном невозможно.

И, опустив печально головку, Оля (так звали девочку) сначала заплакала, а затем, незаметно для самой себя, склонившись на подоконник, сладко задремала.

И вот снится ей, что дверь комнаты скрипнула... Она оглядывается, полагая, что, вероятно, вошла мама, отправившаяся около часа назад получить заработанные деньги в магазин, куда она от времени до времени относила заказы, – но вдруг, вместо мамы, девочка видит на пороге какую-то незнакомую белую фигуру, чрезвычайно привлекательную.

Чем дальше всматривается девочка, тем яснее и яснее узнает в ней одного из тех ангелов, которые нарисованы на образах в церкви и которыми она постоянно любуется, бывая там.

Вот этот ангел подходит ближе... ближе... Вот он стоит уже совсем рядом и подает небольшую рождественскую елочку, всю увешанную гостинцами.

Девочка очень рада.

«Скорее бы мама пришла, – думает малютка. – Скорее бы показать ей неожиданный подарок...»

А мама этим временем действительно, наяву, торопливыми шагами направляется к дому.

Она тоже довольна и счастлива, потому что хозяйка магазина, в виде праздничного сюрприза, подарила ей десять рублей, и бедная женщина, первым делом купив молока, булок и яиц на ужин только что поправившейся после болезни Оле, захватила ей также маленькую рождественскую елочку, которая хотя далеко не была такая нарядная, как елочка, виденная девочкою во сне, но тем не менее доставила собою бедняжке много-много радости.

1892

Лидия Авилова (1864–1943)

Маски

– Папочка, милый! Отчего нельзя? – просила Маруся, и хорошенькие глазки ее принимали трогательное, умоляющее выражение.

– Дурочка! Как это выдумать – проситься в маскарад? В твои-то годы!

– Папуся! Ведь я с тобой. Ну что со мной может случиться? Что? Если хочешь, никто и не узнает, что я была, даже никто из товарок; похожу, посмотрю, это так интересно! Если ты не соглашаешься только оттого, что молодым девушкам в маскарадах бывать не принято, так я же обещаю: никто не узнает, никто!

– Невозможно, Маруся, невозможно! Есть вещи... Поверь, если бы не одно дело, я бы и сам не поехал. Мне, собственно говоря, ужасно не хочется ехать, но надо встретить одно лицо, переговорить по делу.

Он кашлянул в ладонь, деловито нахмурил лоб и зашагал по комнате. Это был красивый, очень молодежавый мужчина лет сорока с небольшим. Фигура его еще сохранила стройность, лицо было свежо несколько женской свежестью, а в подстриженной темной бородке еле еле пробивалась серебристая седина. Маруся, высокая, худенькая, еще не вполне сложившаяся девушка-ребенок, сильно походила на него лицом и в скором будущем обещала быть красавицей. Темно-каштановые волосы ее окружали свежее тонкое личико золотистым сиянием, темные глаза блистали задором и оживлением, но теперь, когда она чувствовала себя почти несчастной, эти глаза сразу померкли и, грустные, умоляющие, следили за движениями отца. Маруся сидела на диване и как-то чисто по-детски жалась всем своим длинным худеньким телом.

– У, папка! – сердито отдувая губки, протянула она.

– Не проси, Маруся, невозможно. Ты знаешь, я никогда не отказываю тебе в развлечениях. Я понимаю, что молодость дается в жизни только один раз, надо пользоваться. В мои годы, например, будь покойна, не распрыгаешься... Но нужен выбор и в удовольствиях; по сорту развлечений познаются люди: скажи мне, как ты веселишься, я скажу тебе, кто ты. Вот как по-моему.

– И ты никогда не веселился в маскарадах, папа?

– Никогда, Маруся, никогда! Для умственно развитого, для нравственно чистого человека это веселие непонятно, недостойно.

– Ну да! Скажешь еще, что на наших пансионских балах веселее?

– Скажу! – быстро ответил он и остановился перед дочерью. – Скажу! – повторил он.

– Когда шерка с машеркой танцует? – полупрезрительно, полуудивленно допрашивала она.

– Так что же? Все равно. Очень весело! Премило! Для меня это невинное веселье, это чистое выражение молодости, это что-то такое непосредственное, наивное... Да! Для меня только это и могло бы быть настоящим, незапятнанным удовольствием.

– И эти противные синявки? – продолжала она.

– Синявки? Не понимаю.

– Наши пансионские классные дамы.

– А-а! Что же? В душе они все-таки, должно быть, славные.

– Славные! – возмутилась она. – Хороши славные! Совсем ты, папа, совсем странный какой-то. Поменяться бы нам: тебе бы в пансион поступить, а я стала бы по маскарадам ездить.

Она грустно вздохнула и опустила голову, он с недоумением пожал плечами и опять зашагал по комнате.

– Папа, – заговорила вдруг Маруся, и в тоне ее послышалась отчаянная решимость, – я не хочу, чтобы между нами было недоразумение. Ну да! Недоразумение... Ты, кажется, думаешь, что мы, пансионерки, как во времена наших бабушек, какие-то такие неземные, наивные создания, что мы совсем ничего не знаем и не понимаем? Не беспокойся! Отлично мы все знаем, отлично. У нас такие есть... Это прежде какие-то невинности из пансионов выходили, а мы, не беспокойся... мы такие... прожженные...

Он остановился и быстро повернулся к ней лицом.

– Что ты говоришь? Что? – удивленно переспросил он.

– Да, нас уж не удивить, не беспокойся, – продолжала Маруся. – Ты не хочешь брать меня в маскарад, потому что думаешь, что я еще ребенок. Хотела бы я, чтобы ты знал, какой я ребенок! Хорош ребенок!

Она сильно волновалась; хорошенькое личико ее оживилось, запылало, и в глазах вспыхнул задорный, насмешливый огонек.

– Маруся! – с напускным ужасом окликнул ее отец.

Но она продолжала быстро-быстро:

– Ведь это одна только слава про пансионерок, а на самом-то деле это такой народ!.. Такой народ! Ты думаешь, мы ничего не читаем? Все читаем, не беспокойся. Это ты там отшельник какой-то, святоша, а то ведь мы мужчин тоже знаем: такие!.. И прекрасно. Мы очень одобряем, сочувствуем... Ты думаешь, пансионерки – так уж непременно добродетель? Сам ты пансионерка в таком случае!

– Маруся! – все с тем же ужасом в голосе повторил он и не выдержал: он стал хохотать. Он вытянул по ее направлению руку с указательным пальцем, сморщил лицо.

– Прожженная, прожженная!.. – захлебываясь от смеха, повторял он. – Ох, пощади! Уморила, Маруся!

Маруся растерялась. Глядя на отца, ей тоже захотелось смеяться, но обидная мысль, что отец недостаточно серьезно отнесся к ее словам и потешается над ней, как над маленькой, задела ее за живое: она сразу съежилась, губы ее обидчиво дрогнули, а в глазах показались слезы.

– Ха, ха, ха! – заливался отец. – Так одобряешь мужчин? Одобряешь, Маруся!..

Она встала.

– Довольно! – вспльчиво заявила она. – Я не девчонка, чтобы надо мною хохотать. Не умно тоже...

– Ну, прости, не сердись, – попросил он, удерживаясь от смеха и утирая глаза, – очень уж ты распотешила меня... уморили... Так одобряешь? Да? – не удержался он от шутки и опять громко, весело засмеялся.

Маруся молча и серьезно глядела на него. Вдруг глазки ее просветлели, а по лицу пробежала усмешка.

– Ну, хорошо, – загадочно проговорила она. – Хорошо... Запомни. – Она опять усмехнулась, и, видимо стараясь сдержать свою неровную еще, детскую походку, Маруся не без достоинства вышла из кабинета отца.

Было уже за полночь, когда Петр Сергеевич стоял в передней в модном фраке, молодежливый, красивый, оживленный.

– Что барышня? – спросил он горничную, внимательно оглядывая себя в зеркало.

– Почивать легли, – ответила та и быстро отвернулась, отыскивая на вешалке шинель.

– Вернусь поздно. Ключ у меня, не жди, – сказал Петр Сергеевич, еще раз взглянул на себя в зеркало и вышел.

Маруся стояла за дверями столовой. Она слышала, как закрылась за отцом дверь, как упал железный крюк, и сердце ее ускоренно, беспокойно забилося.

– Ну, Глаша, скорей, скорей! – закричала она и возбужденно, по-детски захлопала в ладоши.

– Затеяница наша барышня! – сочувственно засмеялась горничная. – Просите скорей у нашей мамзели шелковое платье черное да косынку кружевную. Она на папеньку вашего сердита и теперь наперекор ему все сделать готова.

– Платье? Кружева? – рассеянно переспросила Маруся.

Она прижала к груди свои тонкие, худые ручки, личико ее чуть-чуть побледнело, и что-то беспомощное, испуганное, нерешительное промелькнуло в глазах.

– Заробели никак? – смеясь, спросила ее Глаша.

– Я? Нет, ни капли! – возбужденно воскликнула Маруся. – Не таковская, не беспокойся! – развязно добавила она и побежала в комнату гувернантки своих меньших братьев и сестры.

* * *

Бесцельно и вяло бродили маски по разукрашенной зале театра. У самого входа толпилась группа мужчин во фраках; они улыбались и обменивались впечатлениями, бесцеремонно оглядывая проходящих женщин.

– Что ты изображаешь? – спросил тот, который стоял впереди.

Маска в очень короткой юбке, с большим запечатанным конвертом вместо шляпы на голове и сумкой через плечо остановилась и с деланным смехом протянула ему письмо.

– Почта! – тонким голосом ответила она.

Тот разорвал конверт, вынул сложенную бумагу и засмеялся. Листок стал переходить из рук в руки; мужчины смеялись коротким, резким смехом, закидывая назад головы, а Маска уже шла дальше и раздавала по пути свои лаконические послания. Маруся стояла у дверей. Ей казалось, что те, которые проходили мимо нее, слышали, как часто и громко стучало ее сердце. Она жадно вглядывалась в проходящих, надеясь увидеть отца, тонкие ручки ее прижимались к груди, и к глазам подступали слезы.

«Глупости какие! – мысленно ободряла она себя. – Пансионерка, ничего со мной не делается и бояться уже совсем, совсем нечего».

Она робко сделала несколько шагов и опять остановилась.

– И под маской хорошенькое личико видно, – сказал ей кто-то, близко пригибаясь к ее лицу. – Деточка, сколько тебе лет? – На нее пахло смешанным запахом табаку и вина, и большая мужская рука слегка коснулась ее руки.

На миг Марусе показалось, что ей сейчас же делается дурно: сердце ее уже не стучало, а словно закатилось куда-то мелкими, мелкими скачками, как резиновый мяч, в голове зашумело... Но мысль, что в этой огромной и страшной зале она одна, совсем одна и беспомощна, эта мысль сразу придала ей бодрость и силу, она отдернула свою руку и решительно, так, как идут только навстречу большой опасности, пошла через залу. Теперь кругом нее сдержанно гудела толпа, мелькали пестрые костюмы, сновали одинокие маски, мерно, автоматически двигались под руку парочки. Некоторые задевали ее мимоходом и шли дальше, увлеченные разговором.

Маруся растерялась.

– Господи, – шептала она, – Господи, сделай так, чтобы все это было во сне и чтобы я сейчас проснулась.

– Ротик какой прелестный! – сказал ей кто-то над самым ухом, и в новом ужасе она уже опять готовилась спастись бегством, но мельком взглянула на говорившего и остановилась.

«Monsieur Строев!» – чуть не крикнула она, но спохватилась и, без слов, обрадованным, доверчивым движением кинулась к нему. Этот Строев был давнишний приятель, товарищ ее отца, она встречала его дома во время каникул, в будни Строев навещал ее изредка в пансионе и каждый раз привозил с собой большую, красивую коробку конфет. Маруся очень гордилась его вниманием. На таких всегда нетерпеливо ожидаемых приемах щечки Маруси горели особенно ярко; она подмечала завистливые взгляды своих подруг и особенно выразительно опускала глаза, разговаривая с своим гостем. В душе она была уверена, что не на шутку нравится Строеву, подруги ее были уверены в том же и в пользу этого убеждения своеобразно, но удивительно тонко толковались его взгляды, его улыбки, присочинялись недосказанные им, но слишком легко угадываемые слова. При чтении какого-либо романа и в мечтах своих перед сном Маруся всегда представляла себе Строева, его лицо, его голос; в таких случаях он неизменно горячо говорил ей о своей любви; сердце Маруси радостно трепетало, но она делала грустное лицо, и взгляд ее выражал тоску и состраданье. Такой взгляд, по мнению Маруси, шел к ней больше всего. Теперь вместе с чувством неожиданной радости и избавления к Марусе разом вернулись ее веселость и задор. Наконец почувствовала она то наслаждение запретным плодом, которое с таким нетерпением предвкушала дома.

– Я вас знаю, – задыхаясь от радости и волнения, прошептала она.

Он внимательно оглянул ее с головы до ног и улыбнулся какой-то совсем незнакомой ей улыбкой.

– В куклы играешь? – спросил он.

Маруся густо покраснела под маской.

– Не беспокойтесь! – задорно ответила она. – Очень ошибаетесь, очень.

– Вот как! – снисходительно протянул он, оглядывая ее еще раз. – Так в куклы не играешь? Впрочем, ротик у тебя действительно прелестный.

– А я знаю, кого он вам напоминает и почему нравится! – с возрастающим задором заявила Маруся.

– Да ты пресмешная! Пресмешная, – все еще пристально оглядывая ее, процедил Строев. – Ну, кого же напоминает мне твой ротик?

Под этим взглядом его Маруся чувствовала себя очень неловко; незнакомая улыбка Строева смущала ее, и недавняя радость мало-помалу заменялась непонятным чувством тревоги, почти страха. Она стояла рядом с человеком, которого привыкла считать более чем другом, она видела знакомое, милое ей лицо, слышала любимый голос, и вместе с тем ей опять стало казаться, что в этой огромной зале она одна, что все окружающие ее, и даже этот друг с его лицом и голосом, как будто чужды и враждебны ей.

– Вы заинтересованы одной девушкой... пансионеркой, – с отчаянной решимостью сказала она.

«Все равно! – тут же успокоила она себя. – Он никогда, никогда не узнает, что это была я». Строев удивленно приподнял брови, сделал круглые глаза и, словно желая лучше разглядеть ее, откинулся немного назад.

– Вот видите, я знаю! – не помня себя от волнения, подхватила Маруся.

«Пусть, пусть он признается!» – внутренне молила она.

– Я? Пансионеркой? – спросил Строев, указывая пальцем на белоснежную манишку своей рубашки. – Ха-ха-ха!

– Я знаю, знаю... не отрицайте, – твердила Маруся. – Я знаю...

– Ха-ха-ха! – заливался Строев. – Ну, ты, по крайней мере, оригинальна.

– Но разве нельзя... нельзя заинтересоваться пансионеркой? – с обидной дрожью в голосе чуть не крикнула Маруся.

– Можно еще и не то, – все еще смеясь, ответил Строев, – но я признаюсь. – Он наклонился к ее лицу, смех его оборвался, голос стал глуше, вкрадчивее. – Признаюсь, я не увлекаюсь пансионерками.

Маруся вздрогнула.

«Как вы смеете! Как вы смеете лгать!» – чуть не крикнула она Строеву, но его лицо, склоненное к ней, так испугало и озадачило ее, что она только глядела на него и не могла произнести ни слова. Это он? Строев? Это глядит, улыбается, говорит с ней Строев? Отчего она не узнает его? Отчего она раньше никогда не видала его таким? Тот, прежний Строев, и мил, и дорог ей, а этот, новый, только страшен и противен. Притворяется он теперь или притворился раньше?

– Прелесть! – чуть слышно, одними губами произнес Строев.

Маруся отшатнулась. Глазами, полными мольбы и отчаяния, обвела она залу.

«Где папа? Где папа?» – чуть не закричала она.

Навстречу ей непрерывным однообразным движением шли маска за маской; из глазных отверстий блистали зрачки, из-под легких кружевных оборок показывался край подбородка. Шли мужчины во фраках с широкой белой грудью рубашек, одни равнодушные, скучающие, другие оживленные, с той странной, незнакомой Марусе улыбкой на губах.

– Куда ты, малютка? – позвал ее Строев, но она уже не слышала его.

Из большого пестрого павильона грянул хор; слышались дикие, неестественные крики, словно дразня и подстрекая кого-то, понеслись они в душном, пропитанном ароматами воздухе, и этот воздух, эти крики, блеск зрачков и жуткие лица мужчин слились в одно невыносимое, подавляющее общее, в один тяжелый, ужасающий кошмар. Словно не люди двигались и говорили кругом нее: навстречу ей шли все новые и новые чудовища, одно страшнее, одно враждебнее другого. Маруся прижалась к барьеру крайней пустой ложи, опустила голову, и под маской ее по побледневшим щечкам быстро покатались слезы.

– Ну, едем скорей, – картавил где-то недалеко от нее молодой женский голос. – Строев пропал, едем без Строева.

«Строев!» – с горьким чувством повторила про себя Маруся.

– Строев!..

– Он идет, Додо, идет, – говорил другой голос.

Маруся резким движением подняла голову: прямо перед ней, под руку с нарядной маской, стоял ее отец и, повернувшись в сторону залы, делал кому-то выразительный, призывный знак рукой.

– Одну секунду, Додо...

Маруся замерла. Неожиданность, радость, стыд и еще что-то грустное, горькое и обидное, как разочарование, захватили ей дух, ударили в голову. Дрожа, задыхаясь, она сорвала с себя маску и, делая над собой невероятное усилие, бросилась вперед.

– Папа! – крикнула она. – Увези меня, скорей, скорей!

* * *

В комнате Маруси горела лампа. Ее заслонили большой полураскрытой книгой, и белая кровать девушки оказалась в тени. Маруся лежала лицом к стене. Как только она начинала засыпать, ей чудились дикие, разнузданные крики, жгучий блеск зрачков, и новое, отталкивающее лицо Строева склонялось к ее лицу, обжигая его своим дыханием.

«Я дома, я дома», – успокаивала себя Маруся, стараясь преодолеть тяжелую дремоту. И тут же из какой-то темной, безграничной дали выплывали к ней непонятные маски, доносились взвизгивающие, назойливые голоса.

«Не буду спать», – решила Маруся. Быстрым движением спустила она с постели ноги, и, вся содрогаясь от холода и необычного нервного напряжения, она закуталась в одеяло и тоскливо, сосредоточенно уставилась перед собой. Что за беда, что она испугала, быть может, даже рассердила папу? Не важно, пожалуй, и то, что Строев узнал ее и ей стыдно будет теперь взглянуть ему в глаза. Маруся чувствовала, сознавала в себе что-то другое: то, именно то, было и важно, и серьезно, и больно... Еще больней, еще тревожнее оттого, что не находила Маруся слов для передачи своего нового чувства. Серьезно и вдумчиво глядели ее глаза.

«Это ты там какой-то отшельник, святоша, а то ведь мы мужчин тоже знаем», – вдруг вспомнились ей ее же слова. Она быстро закрыла лицо руками. Холодные ладони ее почувствовали жгучий прилив крови к лицу, и опять перед ней ярко встала картина бальной залы, и отец ее, молодой и красивый, делал кому-то выразительный, призывный знак рукой.

«Отчего больно? Отчего?» – тоскливо пыталась Маруся свою встревоженную душу. И в новом полусне она пыталась приподнять дрожащими руками невидимые ей маски с знакомых когда-то, понятных и милых ей лиц.

1894

Евгений Салиас (1842–1908)

Две елки

I

– Ну... Господи благослови!.. Может, и отдаст... Завтрева к ночи оберну... А ты, Хфедор, сиди-тко дома, родной. Без валенок – куда же? Да и мороз-то здоров.

– Ладно.

– То-то, родной, посиди. Отдаст Захар – я не замешкаюсь. Машу поглядывай...

– Ладно.

– Сенца-то зараз не вали. Теперь с нее буде. А с солнышком подложи. Смотри, родной.

– Да уж ладно... Ты, матка, зря не запропастишь.

Солдатка Авдотья собралась за двадцать верст к куму Захару, что в рассыльных у барина живет. Об осень взял у нее кум холста на рубахи, а деньги пообещал к Покрову, а там к Микололам и до самых вот праздников проводил. Жалованье сам не получал которое уже время. Почитай, с Петровок барин задолжал, не платит. Сам он еле чем пробавляется. Бьется не хуже крестьянского состоянья.

Деверь Авдотьяин, мужик Антон, из соседней деревни заехал за ней по пути, взявшись ее свозить и обратно доставить. Вот и собралась она за долгом. Деньги тоже немалые – пять рублей. Из них два с четвертью отдать надо, зато остальные к празднику пойдут. Авдотья умащивается на розвальнях, хлопочет, возится, и так сядет, и эдак... Захлопоталась баба. И не от спеха, а куражится на радости. Будто посаженной на свадьбу собралась и в купецкие сани усаживается. А важность эту она на себя напустила не зря... Должок-то давно желается и давно на куме терпится... А теперь отдаст. Беспременно отдаст. Праздники.

Парнишка Федюк, солдаткин сын, провожает мать к крестному и тоже доволен, но не ухмыляется, как мать, а брови сдвинул и руки на груди сложил, вот как писарь волостной на сходе, Микололай Микололаич, когда собирается мир выругать «гольтепами».

– Глянь-ка, Федюша, гужи-то... – сказал мужик.

– Чего глядеть, трогай... – важно говорит Федюк.

– Не ровен час, родной.

– Ничего... Ладно все... С Богом! Ну...

– Господи благослови...

Мужик тронул лошаденку, и шагом двинулись они от избушки, на самом краю деревни, и тотчас выехали в открытое белое поле.

– Машу-то... Машу смотри поглядывай! – вдруг визгливо закричала баба, обернувшись из розвальней к сыну.

Федюк, глядя вслед, пробурчал тихо, будто себе одному:

– Ладно. Заладила.

Парнишко мамку свою, вестимо, любит, да все ж таки она баба. У нее все будто семь пятниц, швыряется, лопотошит, разов десять скажет одно слово, разов десять начнет какое дело, бросит и за другое возьмется. И так весь день, к вечеру умается, и все зря, по бабьей своей сноровке.

Федюк, хоть ему и всего тринадцатый годок пошел, совсем деловитее матери выглядит. Зря не тормозится, не болтает языком попусту, работает не хуже большеенького какого. Все

умеет и все смыслит. Когда кому нужно парнишку смышленного, мужики на всей деревне всегда Хфедора Солдаткина норовят взять. И живут Авдотья с Федюком не голодают, разве что от Фоминой до уборки, когда мука на убыль, а нового-то еще жди. Да и у всех его мало, и поделиться с солдаткой всякий боится.

Но теперь куда жить лучше. Вот прежде житье было каторжное, как жив был муж Авдотьян. Все тащил в кабак. Чего уж лучше... Зазвал сынишку купаться. Вылез первый из воды, взял рубашонку Федюшкину, новую, что мать ему состроила, да смехом унес... Попужать... Смехом, смехом... а рубашонка осталась у кабатчика до завтрава. До завтрава, да опять, значит, до завтрава. Так и сгинула. Родного сына раздел пьяница непросыпная.

А вот, как помер тятка Федюка – замерз в Великий пост на дороге, тоже спяну, – так благодаря Бога жить стало солдатке с сыном куда легче. Не прибереи Господь мужа – совсем бы по миру иди.

II

Авдотьяна избушка на отлете от деревни с самого краю. Стоит она, здорово покосившись набок. Сдается, вот ляжет совсем. А уж вот семь годов так-то валится. И чудный вид у избенки. Крыша старая сколько годов уже не сменялась, и солома вся почернела и вздохматилась, будто вихры у мужика спросонья, и два оконца, будто два глаза, смотрят на улицу из-под лохматых нависших кудрей. И один глаз будто подбит и мигает. Одно оконце, где разбили ребятки стекло в третьем годе, заделано дощечкой.

И смотрит избушка на улицу, будто пригорюнившись своего сиротства ради. Одна-то она в сторонке. И чего она не изведала тут! Подымется буря, завоет вьюга, заметет метель и в одну минуту завалит избушку с поля так, что выше окон нанесет сугроб, и не вылезешь, откапывайся прежде у дверки... Да нет худа без добра. Зато от пожару лучше. Раза четыре горела деревня, один раз вся дотла сгорела, и головней не много осталось. А Солдаткина осталась цела и невредима. У нее же староста, перебравшись, месяц прожил...

Федюк, проводив мать, сдвинул шапку на самые глаза и стал чесать за затылком, зевнул и выговорил:

– О Господи, Царь Небесный... О-о-ох-хо-хо... Грехи тяжки...

Так всегда делает сосед их Аким, мужик богатый и первая голова на деревне. Непьющий. В город часто ездит.

Мужики его часто в пример ставят и с него пример берут – но в пустяках, что полегче...

Вот и Федюк, оставшись один-одинехонек хозяином в избе, ради важности зевнул и слова Акимовы сказал.

«Пойти на Машку глянуть», – подумал он и, обойдя избенку, приотворил тесовую дверцу в закуте... Теплом навозным пахнуло...

– Маша, а Маша... Чего?.. Жуешь?.. Жуй.

Маленькая пеструха корова обернулась на зов, поглядела своими большими навывкате глазами... Зорко, пристально глядят эти глаза, а ничего не говорят. Будто стеклянные. Видно только, что они, глаза, твари безгневной, безобидной... Знай день-деньской жует, чтобы молоко дать – выдоят, опять за жвачку. И стоит Маша так недвижимо, неслышно от Покрова и до Егорья, более полгода, покуда не выгонит пастух в поле. Всю зиму молчит Маша, но весной уже мычит не переставая, чует теплынь, траву, чует пору иную, и после закуты на свет Божий захотелось и ей...

Рядом с коровой в своем углу стоит привязана Сивка, маленькая, шершавая, грива косматая. Ей житье хуже. Она и голодная бывает в зиму. Машу нельзя не кормить. А Сивка бывает часто почти без корму... А все-таки запрягают, коли нужда. Гонять ее зря Авдотья не любит, а нельзя же... Бывает, сосед попросит в город съездить по делам и овсецом зато покормит ее.

Федюк оглядел корову, оглядел и лошадь, поправил сено у обеих и вспомнил про поросенка, что в избе под печкой сидит. Надо его выпустить побегать, небось скучает.

Затворил мальчуган закуту и, обойдя угол, вошел в избенку. Одна горница всего, да и мала. Темна, сыра, угарна... Пол, стены, потолок, углы – все-то черно, будто сажей вымазано. Все-то кажет корявое, только лавка да стол гладки, будто глянцем покрыты.

– Ну, хрюшка, подь, побегай, разомни косточки! – сказал Федюк, отнимая доску, которой была заставлена печка.

Поросенок захрюкал и со всех ног бросился из-под печки. И пошел по избе тыкаться обо все мордой и фыркать... И побегать-то рад, да и глуп.

Федюк снял шапку и сел в углу на лавку, хотелось бы хлебушка, думалось ему. Вечеру больше захочется и лучше обождать. Вечеру он возьмет каравай, сам себе отрежет кусок, и молока крынку достанет, и половину опростает...

«Да кабы не Маша – беда!» – думает мальчуган. Она на пятак в день молока дает, а они его продают мужику Акиму, а он торгует. В город возит молоко, творог, сметану, масло. За ним пятаков много этих, а ни одного они с маткой не видали – все мукой да крупой у Акима берут. А все-таки за молоко же. Стало быть, Маше спасибо. Оттого matka так об ней и печется. Пред отъездом подоила. А завтра Арина придет доить. А то беда. Долго ли испортить. Корова не конь.

III

Тоска взяла мальчугана одного. С матерью все-таки словом перекинется, а теперь сиди вот. Даже хрюшка, набегавшись, прикурнул. Спать средь дня негоже, делать нечего, а уходить matka не велела...

«Что ж так-то сидеть... Небось никто тут не обворует. Корову не уведут. А из избы разве одного поросенка унести можно, так его и не приметно... Чего ж я тут буду зря глаза-то на стены таращить...»

Подумал мальчуган, решил и, надвинув шапку, вышел. Прошел он улицей, дошел до оврага. По дороге баба Маремьяна окликнула его:

– Ты куда это?..

– Никуда... Вот...

– Matka-то ушла, что ль? За должком-то?

– Уехала, – важно промычал Федюк в нос.

– Лошадку-то зачем погнала?

– Антон заехал, – еще важнее назвал мальчуган богатого соседа-мужика.

Хотел было Федюк от оврага назад вернуть домой, да рано, еще и смеркаться не начало... Постоял, постоял он над оврагом и стал спускаться. Пройдя мостик, поднялся он на другую сторону, где бывало всегда люднее и веселее.

На этой стороне и было село, не чета их деревнишке. У них все бедняки голь, а тут мужики богатые, что ни двор, то лошадь, две, корова, овцы с свиньями. А у них всего три коровки на всю деревню, считая и Солдаткину.

В стороне от села большущий сад и усадьба барская. Дом и флигеля каменные, надворное строенье деревянное, но свежее и все-то везде железом крыто. Была это когда-то усадьба князя одного московского, а как вышла воля, да оброк-то большущий перестали ему платить мужики, да в надел получили, почитай, всю землю, какая была при селе, князь и отказался. Ездить перестал на лето, как прежде, а там скоро и продал все, кроме усадьбы... Землицы немного соседу-помещику, алее – купцу. Купец Агап Брюхов лес вырубил, разжился и чрез год и усадьбу у князя купил. Теперь уж он все земли снимает кругом у помещиков, благо все мелкопоместные, а то в городах живут. И деньжищев у Брюхова – куры не клюют. Хозяйка его

Матрена Ильинишна почти с постели не слезает – и поживает, и так лежит покряхтывает, не от болезни, а от сыта и купецкого удовольствия.

– Молода была, набегалась, – говорит. – Ноне при капиталах – полежу. Другие пушай бегают.

Федюк прошел село и завернул к усадьбе поглазеть. Давно не бывал он здесь. Может, что и есть поглядеть.

Дошел он до ворот... Ему навстречу трое сынков Брюхова с салазками выскакали. Шапки, тулупчики мехом обшиты, кушаки красные. На руках варежки, тоже красные. Да и салазки тоже красные, обшиты чудной материей и позументом, будто у отца Андрея отрезали кусок от ризы. Блестит – сиянье кругом...

У Федюка глаза разгорелись на купецких ребятах.

Увидели парнишку озорники балованью – и к нему, все трое... Окружили...

– Ты чего, музлан? – пищит самый махонький, Ванюшкой звать.

– Гляди, тетеря какая, – тычет ему в рожу другой, Семен, по батюшке – Агапыч.

– Кланяйся, дурень. Скажи «бонжур»...

И старший, Митрий Агапыч, лет четырнадцати парень, живо сорвал с Федюка шапку и бросил в сугроб.

– Зачем? Чего обижаете... Что я вам... – заворчал Федюк и полез за шапкой.

Старший подкрался, ткул его в зад, и полетел Федюк торчмя рылом в сугроб.

– Господа... Негоже так-то. Я вашему тятеньке пожалуюсь. Что я вам... – разобиделся Федюк и, стяхнувшись от снега, достал шапку и надел.

– Поди, жалуйся тятю. Он тебя высечь велит! – кричит Митрий Агапыч, смеясь.

– Ты зачем прилез к нам? Тут наш двор. Сиди на деревне, тетеря... Я вот тебя! – грозитя кулаком Семен.

– Давайте его снежками бомбардировать. Он будет турка, а мы Скобелевы...

– Давай...

Бросили мальчуганы салазки и, забирая пригоршнями снег да сжимая в комок, начали палить в Федюка. Так и зачастили... Покраснел мальчуган.

«Эх, кабы не боялся ответу матки за себя, – думает Федюк, – разнес бы всех троих барчат. Таких ли колачивал!»

Пришлось Федюку удирать бегом, а купецкие озорники разладились, гогочут и до села пальбой провожают. Федюк бежит, и они за ним.

– Турка! Турка! – кричат.

– Ура! Ура!

Уж на селе только бросили озорничество и вернули. Не приказано им было ходить на село. А то бы не отстали.

Федюк, обозясь, тоже остановился и крикнул издали, не стерпев:

– Ишь их поднимает! Дьяволята! Крапивное семя!

– Сам дурак! Турка! – кричит горласто Митрий Агапыч.

– Твое турково рыло, – отзывается Федюк. – Аспид. Приходи к нам, вас я отхворощу по-своему, дьяволята.

Мальчуганы вернули опять на парнишку, будто догнать. Федюк припустился. Они остановились, и он тоже. Он стал грозитя, кричать, и купецкие мальчуганы тоже.

– Аспиды! Ас-пи-ды! – орет Федюк, что есть в нем духу.

Кричат и купецкие ребята что-то в ответ... Митрий Агапыч надсдается, орет, но уж издалече не разберешь...

– Озорные! – злится еще Федюк. – Были ли вы, дьяволята, нашихские, с деревни, измо- чалил бы всех троих.

Стал уже Федюк спускаться к оврагу – оглянулся снова на ребят брюховских. Нету их. Уж добежали, знать, домой.

А вместо них вышел из ворот усадьбы мужик и идет шибко: должно быть, купецкие детки выслали кого из своих батраков догнать да отдуть Федюка.

Припустился мальчуган рысью от мужика, перебежал мост и оглянулся на ту сторону... Кажись, это кто-то знакомый, шапка-то страсть мохнатая, да больно уж большущая. Очень знакома... Одна такая на всю деревню.

«Э-э, да то Софрон...» – узнал Федюк.

Софрон – свой мужик, с деревни, и Федюка ни в жизнь не тронет, хоть бы и просили его ребята купецкие. Добрый мужик, только куда пьет... Все пропилил и так на улице живет, где случится, ночует, где покормят. Ну и плохо ничего не клади при нем. Мир уже собрался начальство просить его отписать куда-то далече.

Когда кому нужно состряпать какое дело опасливое, негожее, всегда зовут Софрона. Он и мастер на всякие такие дела, да и взять с него нечего, с голого. Все с рук и сходит, пока мир еще терпит. Был на него раз след, что лошадку свел и конокрадам передал, да улик не нашлось. А то бы уж улетел далеко.

Впрочем, пообещал ему мир, коли еще раз где конь пропадет, забить его до смерти. С тех пор не пропадало еще коней. Зато телок у одной бабы пропал. Не то волки утащили, не то Софроновых рук это дело. Впрочем, и волков страсть кругом. Отбою от них нету. Бывает, иной раз на деревне забегают ночью и собак таскают. Много они их пережрали. Прежде на деревне, сказывают, было до ста собак, а ныне трех десятков не наберешь. Прошлую зиму у Акима жеребенка утащил волк, да далеко не мог унести, так по близости избы Авдотьиной зарезал и только половину сожрал. Всю дорогу и пригорок кровью полил серый зубоскал.

IV

Федюк, узнав Софрона, обождал его, чтобы сказать про озорство купецких ребят. Может, Агап Силантьич узнает – не велит им.

«А то и вихры надерет аспидам! – думает Федюк. – То-то бы гоже».

– Эй! Федюша! Во ладно! – заорал Софрон, завидя парнишку, и руками замахал.

– Чего?

– Тебя-то мне и надуть! – кричит Софрон.

Подошел мужик и рад. Веселый, ухмыляется, а ничего, еще не пьян.

– Чего тебе? – говорит Федюк.

– Дело, паренек. Золотое дело. Подсоби. Шел было я к Макару. Да вот ты попался. Еще того лучше. Пятак наживешь, во какое дело.

– Каки у тебя пятаки?! – смеется Федюк.

– Сейчас издохнуть, пятак тебе дам. Одному, вишь, мне не покладно. А взять с собой некого. Своих ребят нету. С села не пойдут, а с вашей деревни некого. Глупы щенки. Хошь мне помочь? Пойдешь?

– Что ж... Почему не пойти...

– Матка, коли заругает, – плевать. Ты ее ведь не боишься. Она не драчлива. Холит тебя.

– Матка уехамши.

– Во! Славно. Стало, тебе в самый раз. А я тебе пятак. Ей-богу! Сейчас мне издохнуть, коли я вру. Я сам-от полтину зашибу. Во как!

– Чем же ты это? Не воровать же мне с тобой идтить! – решил мальчуган.

– Что ты, паря. Кой леший! На что нам воровать. Мы, значит, так, полегонечку, потихонечку. Да и дело-то плевое. Коли и узнается – ничего. Поругается малость староста и плюнет. Ладно, что ль?

– Да что? Что? Ты наперед сказывай.

– Нет, ты наперед сказывайся. В подмогу пойдешь? Пятак хошь получить?

– Ну?

– Пойдешь со мной, как смеркнется, в лес. Вот, недалече за селом. Ну, за версту, что ли.

И того не будет. Знаешь, где летом малинник? Версты нет.

– Верста будет.

– Ну, верста, нехай. Пойдешь со мной. К полуночи все дело готово будет.

– Да какое дело-то? Деревы валить, что ль? Так за эфто, дядя, знаешь, что бывает?

– Зачем дерева? То порубка. Дело сибирное. А мы махонькую елочку положим. Ей цена в лесу – алтын. А я за нее полтину получу и тебе пятак дам.

Задумался Федюк... Что матка скажет... Ночью со двора уйти и оставить избу. Машу одну бросить. Не ровен час... Воровства у них нет! А все как-то негоже. Пустая изба ночью. Помилуй Бог.

– Ну? – спрашивает Софрон.

– Да как же, дядя... Изба-то вот... Опять коровушка. Кабы матка даже была, а то...

– О, дурень! Да ведь мы в два часа время все оборудуем и домой будем. Хошь два пятака?

– Да зачем тебе елка?

– Глупый! Рождество. Праздник. Всем детям барским елки, значит, ставят в горницах и на них орехи вешают.

– Зачем? – удивился Федюк.

– Зачем! Про то बारे, помещики знают. Такая заведенья. Ну, вот и Агапу Силантьичу надеть елочку детям. Он мне и приказал раздобыться.

– Чего ж это он тебя-то позвал?

И Федюк подозрительно глянул. Чего это купцу звать Софрона-пьяницу, да полтину платить! Пошли своего батрака. Даром сделает.

– Стало, так нужно... У него ельнику в саду нету. Лесов своих нету. Есть, да за двадцать верст отсюда. Кланяться опять нашим мужикам не хочет. Он с ними ныне из-за потравы летошней на ножах, судиться хочет. Вот он меня и сговорил.

– Батрака бы послал. Даром бы...

– Батрака? Ох ты!

И Софрон думает про себя, как же купцу с своего двора слать человека – и пакостить. Из-за плевого дела. Ведь в лесу-то и накрыть могут. Как на грех, встренутся с села свои мужики.

– Тут, дядя Софрон, дело, стало быть, негоже. Эдак-то и я с тобой попадусь, – догадался мальчуган.

– Хошь три пятака?! – заорал Софрон отчаянно.

Задумался Федюк. Три пятака... И ведь не обманет. Пьяница и на руку нечист Софрон, а не обманет. Этого за ним не слышать.

– Да ты один бы... – выговорил Федюк, подумав.

– Не могу я один. Ты лошадку запряги и топор припаси. У меня ничего нет. Один Бог на тесемочке.

– А ты у самого Агапа Силантьича попроси коня да топор. У него коней много...

Злится Софрон и сопит даже со зла.

«Ох, глуп мальчуган, – думает он. – Станет купец на воровское дело, хоть и малое, давать лошадь да свой топор. Накроют мужики да учинят мировой спрос: „Чей конь? Чей топор? Купца, мол, Брюхова...“ Ах, глуп мальчуган».

– Ты, паря, глуп. Этих делов не понимаешь. Я вот тебе, думаячи, умный ты парень, три пятака нажить даю, а ты артачишься да ломаешься. Будь матка твоя дома, сейчас бы к ней...

И стал дядя Софрон пояснять мальчугану, как они дело справят.

Как ночь придет, проедет Федюк все село, а он его у кабака ждать будет. Доедут в лес, живо елочку срубят – на дровни, и рогожами прикроют, и до усадьбы. Тут он на себе ее дотащит во двор, а Федюк домой поедет. А после сам купец будет хвастать, что елка у него была из мирского леса. А кто рубил? Батраки, а то и сам рубил – не накрыли. Прозевали. И дело с концом.

– А коли нас накроют?

– Ты скажешь – себе рубил. Матка послала. За дровами. А я тебе в помощь был. Вам не запрет рубить, да еще махонькое деревцо. Ему цена – грош.

Подумал, подумал мальчуган и согласился.

– Так бы скорее... – решил Софрон. – Как ночь, приезжай к кабаку. Да не становися. Мимо проезжай да посвистывай таково. Я буду на крылечке ждать да поглядывать, на свист выйду и догоню.

– Ладно.

Мальчуган побежал домой и всю дорогу думал да рассуждал, что ему на три пятака купить. У Еремки три кона бабок купит он. Да стрючков осьмуху в воскресенье на базаре. Пятак матке отдаст. Скажет... А что скажет? Откуда он? Нашел. Да нешто деньги по земле валяются? Ну, подброшу ей же, пушай ходит, спрашивает: чей пятак? Все откажутся. Себе и возьмет... Дело-то не совсем гоже. Да небось сойдет. Софрона выпорют, может, на сходе. А его и не тронут. Он махонький. Софрон-пьяница подучил. А то и не узнает никто. Ночь-то темная будет. Да и метель, никак, собирается.

V

Смерклось... Пришла и ночь, хоть и безлунная, но светлая... Небо все ясное рассыпало над землей тысячи тысяч звездочек, и все они блещут, искру сыпят, будто дрожат и мигают.

Мороз все сильнее трещит... Снег на полях тоже засиял и заблестал. Будто и по ним малиновые и синие огоньки да искорки перебегают. Пуше всего злится мороз на человека, духу него спирает, будто душит, нос щиплет и за лицо, за руки хватает, будто кусается...

Запряг Федюк Сивку в дровни, захватил топор и, перекрестясь, отъехал от двора. Страшно ему, а чего – сам не знает. Матки нет, а он двор середь ночи бросил. Маша одна будет. Наказывала матка со двора и засветло-то не отлучаться, а он ночью в лес собрался с пьяницей Софроном. Негоже... Ох, негоже!

Миновал деревню Федюк, никого не повстречал. Спят мужики давно. Только в одной избушке огонек и светился.

Проехал мальчуган и мост, въехал в село. Тут огоньков побольше засияло в избах, народ богаче, да и живет по-купецки, ложится поздно, встает тоже со светом. А до свету никто себя не тревожит, хоть и поздно рассветает зимой.

Среди села попался Федюку встречный, разъехались уж было, да увидел мужик парнишку одного в дровнях середь ночи и спросил зря:

– Эй, паря, кто таков? Откедова?

– Оттедова – где теперь нету! – крикнул Федюк, как часто слышал. Аким так сказывает, когда ему соседи опросами прискучат.

– Вишь, прыткий... – сказал мужик и крикнул, уж разъехавшись: – В кабак, что ль?.. Раненько, парень, за сивуху принялся.

– Ладно! – кричит Федюк. – Тебе пора, вишь, бросить, вот я вместо тебя учал пить!..

Мужик расслышал, головой тряхнул и проворчал:

– Вишь, ноне и малые ребятки норовят кажинного обляять. И не стоворишь.

Поравнялся Федюк с кабаком и стал посвистывать... С крылечка сбежал мужик Софрон – и к нему. С размаху, с двумя рогожами в руках, как мешок, ввалился он в дровни и весело крикнул:

– Козырь ты, парень. Ей-богу! Сейчас мне издохнуть. Золотой!

Глядит Федюк, не напился ли уж дядя Софрон. Нет. Не пьян. Сел мужик, как должно, около парня и заговорил:

– Топор-от припас, Федюша?

– А то нет. Вот он...

– Молодца, парень. Гляди, как мы все объегорим. Чрез часок назад будем... Ну-тка трусцой...

Мальчуган нахлестал лошаденку. Она задрала хвост и пошла скоком тихо, без шума прыгая по гладкой морозной дороге. Только и слышать, как хомут шлепает по Сивке да оглобли поскрипывают, свежим лыком прикрученные к полозьям.

– Вот до того буерака, Федюша, и сейчас вправо, – показал Софрон на лесок, что темнеет за белым полем.

– Я чай, занесло тамо-тка? Езды нет.

– Где? Как нынче зима. Только все трещит анафема мороз. А снегу и не видал. Беда это, Федюша, морозы эфти.

– Да. Хлебушка не прикрыт снежком, вестимо. Аким сказывает вот, что...

– Озимый-то?.. Верно... А я не про то. А вот нарежешься в эфтошь мороз, да на улицу выйдешь... И жарко-то тебе, и студено. И пуще тебя хмель разбирает... Будто бес тебя научать учнет... Ляг, мол, ляг. А ляжешь на улице, тоись бултыхнешься ненароком, – и аминь. Готово...

– Что?

– Замерз...

– Да... А зачем пьешь? Не пей...

– Не пей! Ах, парнишка... Эка забавник! – захохотал Софрон. – Сейчас издохнуть, забавник!

И Софрон залился дробным сиповатым смехом.

– О-ох... – вздохнул он наконец. – Насмешил ты, паря.

И вдруг тут же Софрон насупился, мотнул головой и будто даже и пригорюнился малость.

– Не пить... – заговорил он, помолчав. – Нечто можно человеку да не пить... Что я? Тварь!.. Свиное рыло. Темнота. А выпьешь, так тебя вот и носит, будто птица, летаешь под небеса. Ей-ей! Я вот как захмелел – во мне душенька моя со мной сейчас возговорит. Я ей сказываю всякое вот такое... И она ответствует. Ей-ей... Часто спрашивают, смеются люди. Вишь, мол, сам с собой рассуждает спьяну. Враки! Не сам с собой. А душенька возговорит. И уж как это тебе чудесно все сдается во хмелю. Все-то распрекраснее, и сам-от ты не мужик – музлан. Сам-от сейчас храбер! Никто не трожь. Убью!.. Да!.. – Софрон прибавил грубым басом: – Убью-у!!!

Федюк даже рассмеялся голосу Софрона.

– То-то вот, паря, – заговорил мужик опять своим голосом. – Ты этого уразуметь не можешь. Трезвый-то маешься, маешься... Всяк то тебя выругает негоже, да велит молчать, а то пихнет, а то и по рылу... А ты терпи. Ты что? Бобыль, пропойца. Хуже тебя нету... Ходи да завидки закидывай. У кого изба, у кого скотинка, у кого жена молодуха. Кто на жалованье, кто шинкарь при деньгах, кто купец при капитале, кто сам становой... А ты вот... Тьфу! Голь непокрытая. И всяк тебя хуже всякой свиньи почитает... Вот тут, паря, первое дело – в кабак.

– Зачем?

– А вот вишь. Пришел ты в кабак. Темнота ты, голь, свинья... Хуже свиньи! Званья тебе нет такого скверного... А нарезался, вышел – и что тебе сосед-мирод? Что у него, вишь,

пара коней? Важность?! Аль купец какой, аль барин, что кричит: «Куда лезешь, раздавлю!» А ты ему: «Я те сам раздавлю, такой-сякой...» Становой увидит: «Эй, Софронка, мотри ты, отдеру...» А ты ему: «Ваше благородие, не замай. Гуляю. Никто меня не трожь. Убью».

Федюк захохотал.

– Да что становой! Раз, паря, прошлым летом пошел это я в кабак раным-рано, еще к обедне не ударяли. Вышел, сел на крылечко... И мотает меня, и туды и сюды, и опять туды, и опять сюды. А солнышко прямо в глаза и режет, так вот наскрозь режет. Обозлился я, встал на ноги-то, да и заорал: «Я тебя, дьявола! Чего рыло-то свое на меня обернуло? Пошло прочь! Уходи! Убью...»

– Кому тоись?.. – не понял Федюк.

– То-то, паря... Вот! Кому? А солнышку Божью самому. Ей-богу! Грех даже.

Федюк покачал головой.

– Шел тут Аким ваш мимо кабака. «С кем ты тут говоришь, чего орешь?» – «А во, – говорю, – чего оно места своего не знает? На меня лезет». – «Кто?» – спрашивает меня Аким и даже диву дался. «Да вот солнце, – сказываю, – анафемское». Только тут Аким руками развел да плюнул на меня: «Тьфу, окаянный!»

Софрон гуторил всю дорогу, не горласто, не озорно, а будто жалился парню на себя. Будто не он пьет, а обида от людей в нем застряла и пьет. Ноет, ноет душа в нем от обид и захочет облегчиться, и пойдет Софрон в кабак, как сказывается, «душу отвести».

Выпьет – и весело. Все будто други-приятели. Все-то хорошо на свете, ладно да складно. А первое дело: никого он не бойся! Вот что!

«Молчать!» – орет хоть бы и становой, а сам знает, что ори не ори, а пьяного не тронешь, не ударишь, не выпорешь, как он ни согроби. Завсегда только плюнет и бросит. А коли чего и натворит Софрон, спросят трезвого... Скажет: «Виноват, выпимши был. Не помню...» И сошло.

VI

Проехав с полверсты по большой дороге, Федюк свернул влево на проселок, где чернелся поблизости лес. Дорога и тут была наезжена довольно. Тут мужики и в лес за дровами ездят, да и в волость проехать тут верст на пять ближе. Когда зима снегом богата – бросают тут езду, а когда малы сугробы – всю зиму ездят напрямки. Православный человек смерть не любить кружить, норовит все напрямки взять, через овраги ли, через брод. А пешком – через кусты шагает, через плетень и изгородь лезет.

Въехали Софрон с Федюком в лес. Сначала мелкота пошла, а там выше, да выше, да гуще выростал лес. Дорога пошла вилять, то вправо, то влево, обходя чащу иль высокие деревья. Наконец направо показалась прогалина и ельник на ней. Елочки все в одиночку, молодые, круглые, развесистые, не в тесноте, а на просторе выросшие.

– Стой, парень. Во наша елочка. Находка!.. Вертай.

Федюк направил Сивку на прогалину, сугробу была самая малость, на четверть, объехал кусты и, завернув коня назад, поставил мордой к селу, сажень в трех от дороги. И близко, да и с опаской. За кустами их с дороги не видно.

– Вот эвту... – решил Софрон. – Ахти-тельная.

Выбрал мужик елочку пряменькую да кругленькую и давай ее, аршина на два от земли, по стволу чикать да чикать потихонечку. Не ровен час, проезжие еще издали услышат топор.

А Сивка не стоит, ежится, дергает.

– Чего тебя разбирает! – сердится Федюк. – Тпру! Черт!

Софрон почиркает да прислушается и смеется, глядя на мальчугана. Даже Федюк понукает.

– Небось никого. Кому тут теперь разезжать!

– На грех мастера нет, паря.

А Сивка опять с места... Фыркает да дергает.

– У, дьявол! – кричит Федюк. – Овода, что ль, крещенские кусают. Че-орт!

Свалил наконец Софрон елочку. Хрястнул ствол, завернулась маковка набок и тихо накренилась. Еще малость – и, шурша ветками об ветки, свалилась совсем, будто поклонилась Софрону в пояс.

Стащили Софрон с Федюком елку и бухнули на дровни. А Сивка фыркнула и прыгнула... Не поймай Федюк вожжу, побежала бы с места.

– Ишь ведь ее разбирает! Николи такого и не бывало.

– Леший, знать, щекочет, – смеется Софрон.

– Ну-те... – оробел мальчуган.

В лесу, ночью – да эдакое сказывает мужик, прямо пьяница бесстрашный.

Приладил Софрон елочку, пригнул все ветви к стволу, накрыл двумя рогожками, что припас, и полез в пазуху за бечевой, что раздобыл в кабаке.

– Просто диво. Сядешь и не видать будет, что под нами лежит, – хвастал Софрон, увязывая рогожи бечевой.

А Сивка проклятая вдруг «фырк» опять, да дерг с места. Софрон с одной-то ногой на дровнях, чуть с маху об землю не грянулся.

– Ах ты, дьявол!.. Тпррру... Чтoб те разорвало! – крикнул Софрон, ухватя вожжу, и заспешил уж обвязывать скорее.

Сивка стала, но приложила уши, поджала хвост, и будто всю ее коробит, будто ей и впрямь леший ноги выворачивает. Обернулась она из-за дуги, а глаза у нее просто вот огнем горят. Кровью налилися...

Фыркнула Сивка еще раз-два, да вдруг, как стояла, подобралась передом, села совсем на задние ноги по-собачьи да и взвилася, будто укушенная. Да как из лука стрела – шаркнула с места во всю ивановскую...

– Стой... Ах... Тпррру... Стой! Стой!.. Ах! Анафема... – заорал Софрон и бросился за дровнями.

Сивка на дорогу, мужик за ней, Федюк за ним... Бежит мужик по лесу что есть мочи, а догнать не может. Валяет Сивка вскачь, будто невидимая сила ее нажаривает кнутом по спине... Скачет лошаденка, откуда сила да удаль взялись, так и частит копытами по дороге...

– Тпрру!.. Тпрру-у! – надсадается Софрон на бегу. Хотелось бы ругней засыпать ее, треклятую, да мочи нет, уж дух стало ему захватывать.

«Беда бедовая... – думает мужик. – Прискачет лошадь на село. Завидят, словят. Узнают Сивку Авдотьину. Дерево надровнях... Здорово выпорют на сходе. А то и хуже. Велико дерево... Подведут дело со зла под порубку заеды мирские».

VII

Приложив уши и задрав хвост, ретиво выскакала Сивка из лесу. Но в поле, будто умаявшись, рысью пошла... Софрон отстал далече, еще только на опушке бежит, и в грудь кулаками уперся. Давно не бегал. Дух сперло морозиною, душеньку выпирает...

– Ох! Ох! Ох! – стонет он на бегу, будто от боли какой нестерпимой.

Выбежал мужик из лесу, а лошадь далеко в поле. Хотел он уж рукой махнуть: плевать!

Да вдруг смекнул мужик, что ему делать. Лошаденка проселком уж перестала скакать, рысцой пошла, а завернет на большую дорогу, поди, сейчас и шажком примет, отпрыгавшись, треклятая. А ему напрямки хватить, наперерез. Сивке более версты до села еще, а ему целиком

четверти не будет. Сугробов, спасибо, нету совсем, чуть только пашня мерзлая прикрыта. И зашагал Софрон наперерез. Тяжело все-таки по снегу, да зато рукой подать до большой дороги.

Оглянулся мужик на лес. Парня не видать еще на опушке. Прошел мужик саженой двадцать целиной и взопрел наконец. Морозина страсть трещит, а у него из-под шапки пот валит и от рыла пар пошел. Смотрит он, и Сивка, знать, умаялась – видать, хоть и далеко, – не то шагом пошла поганая, не то вовсе стала. Напрыгалась... Пошел и Софрон с роздыхом.

«Выйду на дорогу много прежде треклятой», – сообразил мужик, и полегчало у него на душе. Лишь бы теперь словить коня да, обождав парня, доехать удачливо до двора Агапа Силантьича.

Оглянулся опять Софрон на лес. Все видно, светлехонько, вон и кустики малые видны... А мальчугана нету. Ишь ведь, ленивый какой! Бежать не может, барином пошел. Ау него так все нутро не то обмерзло, не то пожгло и распирает бока, будто распорки вставили в ребра поперек тела.

Добрался наконец мужик целиной до дороги и вернул уж коню навстречу... Прошел шагов сорок... Идет Сивка поганая, будто на смех, еле-то еле ногами передвигает.

– Акты, распроанафема! – встретил мужик Сивку и не стерпел, начал ее тузить по морде кулаками, даже назад попятил.

– Ишь ведь, ишь ведь, дьявола эдакая, распротреклтая! Напрыгалась, чертово твое рыло...

Отгузил Софрон лошаденку, и будто полегчало у него на сердце. Сел мужик на дровни, отодрал сосульки от усов и, сняв шапку, стал голову потную рукавами обтирать – за ушами у него на волосах, глядь, тоже сосульки висят.

– Ишь ведь, как нагрелся, будто на пожар драл. Что-ж это Федька-то застрял? Скажи на милость! Паршивый. Я тут намаялся, а он барином шагает.

Оглядел Софрон поле до опушки, не видать мальчугана, зато сзади на дороге показалось что-то темное да длинное.

«Ахти, никак наши мужики, обоз! – струхнул мужик. – Увидят тут, середь дороги ночью, беда! От одного отгрызешься, а от десятка – нельзя. Заедят. А то и изобьют до полусмерти».

И, недолго думая, тронул мужик лошадь с места рысцой.

«Не бойсь, не купец какой! Щенок! И пешком дойдет, – думает Софрон. – Далече ли тут, двух верст нету. Правда, вестимо, махонький тоже, напужаться может в лесу, а у нас волки тоже. Страсть что их ноне развелось, компаньями ходят, окаянные! Будто девки за грибами! Нарвись на них в лесу – съедят, ничего тоись не оставят, шапку да варежки и те сожрут, дьяволы. А махонькому и совсем негоже. По лесу пешком, да ночным делом, и большому человеку жутко».

А сам мужик все знай настегивает вожжами Сивку, вот уж и в село въехал, вон усадьбу Кушцову видать. Проехал Софрон мимо Николая-Андреянычева кабака, поглядел в окна освещенные и вздохнул, будто по зазнобушке какой сердечной.

Миновал он три избы села и свернул на аллею, ракетами обсаженную, что вела во двор усадьбы купца Брюхова. Везде на селе все уж спит, ночь и темь кругом, а тут все окна огнями горят, будто праздник какой. По-барски живет Агап Силантьич.

VIII

Чего же паренек в лесу замешкался? А простое дело, нету его проще. Как шаркнула с полянки, неведомо почему, лядащая Сивка да бросился за ней со всех ног Софрон, мальчуган так перепугался, крича: «Тпру, стой, стой!» Пробежал он саженой десять по дороге да и ахнул: – Атопор-от?!

Топор у пенька от елочки остался. Вернулся паренек назад на полянку по следам, что остались на снегу от дровней, и прямо к месту, где рубили елку. Без Софрона-то здесь совсем не то, будто помертвело все сразу, жутко и на сердце щекочет. Темная чаща кругом обступила и топоршится на полянку, вот-вот, помилуй Бог, что привидится парню. Жмурит он глаза, а сам, будто нехотя, все-таки оглядывается.

– И-их, Господи! Вон чтой-то видать темное середь снега на опушке, а вон и еще... Собаки! И с красными глазами.

Взял мальчуган топор да бежать, а собаки за ним запрыгали, две большущие, а вона и третья, махонькая.

– Волки, волки! – задохнулся паренек и взвыл благим матом, волосы будто дыбом шапку подняли, и искры в глазах засияли.

Пробежал он до кустов – оглянулся, волки саженьх уж в пяти от него, и в кучке. Бросился парень к дереву, прислонился к стволу спиной и замахал зря топором.

– Матка, матка! – завыл мальчуган.

Волки тоже стали середь поляны, как раз у срубленной елки. Один сел, а махонький волчонок ближе подскочил, вот сейчас вблизи к Федюку прыгнет.

«Лезь на дерево, полезай... Живо!» – приказал будто кто-то Федюку на ухо. Бросил паренек топор и, не учитьсь стать, в один миг на сажень от земли на сучке уж сидит.

И пора была... Махнул в два прыжка к парню самый большущий волк... и взвился у дерева на дыбки... Глазища, что два огня полыхают, зубы белые блестят, длинный язык на сторону, и пар от него дымком вьется... Положил лапы передние серый зубоскал на ствол и щелкает зубами...

Мальчуган смотрит – и ни жив ни мертв. Руки трясутся, в голове полыхает будто полымя и мысли путает, на душе захолонуло все, будто нету ее. Но все ж таки с грехом пополам полез парень еще выше и чуть не до самой верхушки высокой ели добрался по сучкам.

Только шибко плачет да зовет:

– Матка, матка!.. Господи Батюшка! Угодник чудотворец Микол ай Андреянович!

Со страху угодника святого с целовальником спутал бедняга.

Волк сел под деревом и глядит вверх, другой подскочил ближе и тоже сел. Волчонок прыгает кругом них, балуется и заигрывает, кидается на них и, шлепаясь, катается по снегу.

– Дядя Софрон! Софрон! – прокричал и раз и два мальчуган, но нету мужика.

Прошло много времени... Федюк уместился верхом на толстом суке, обхватил ногами ствол, обнял его и ручонками и сидит, плачется тихонько, молится, мамку зовет, угодников Божьих поминает. А волки, отойдя мало, легли на полянке, будто стерегут парня, когда слезет. Понемногу стало легче парню, отлегло малость от души! Ведь волки на деревья не лазают. То не медведь. А вернется Софрон, они живо уберутся.

– Дядя Софрон, а дядя Софрон! – прокричал опять Федюк на весь лес.

Но тихо все.

IX

Час уже десятый был, когда доложил Брюхову приказчик, что Софрон елку детям привез и за труд просит. Приказали елку внести в кухню, чтобы просохла живее, а к Софрону вышел в переднюю сам купец Агап Силантьич, мужчина высокий, плотный и уж малость животом стал вперед подаваться с беспечного житья. Широкое и чистое лицо, круглая русая борода обросла, глаза добрые и голос ласковый; только будто кислота у него какая в глазах веки вечные. Так чудно глядит, что кажется тебе, будто ты обронил что, а он поднял, да не сказывается.

– Ну, здравствуй, – говорит Агап Силантьич, – на вот, получай за свой алтынный товар полтину серебра.

Кланяется Софрон, жметя, ухмыляется.

– Не в товаре тут, ваше степенство, а коли бы накрыли меня свои мужички?..

– Ну, отстегали бы.

– То-то...

– Не впервой, кожа-то, я чай, уж обтерпелась, привыкла. Ну, да что ж... За то вот получай.

– Прибавить бы надо... на чаек... Мороз эв-вона какой, снег опять... иззябся...

– Вестимо, мороз и снег, на то зима.

Взял Софрон деньги мелочью и хотел было еще пятак выклянчить у купца, но тот только сказал: «Ладно, ладно...» И видать было сразу, что ты его тут хоть обухом бей – ничего больше не вышибешь.

– А будут коли спрашивать, откуда елочка, я этим сутягам подлецам прямо говорить буду назло: «Из вашего, мол, лесу, общественного. А кто рубил да предоставил мне? На, мол, вот!» – И Агап Силантьич показал Софрону шиш.

Сердит был Брюхов на все село за то, что мужики смеют с ним в суде тягаться, а не повинуются, как барину бы.

Вышел Софрон от купца и, сев на пустые дровни, выехал из усадьбы. Провозился он да промешкал у Брюхова немало. Федюк небось уж дома давно. Шажком миновал мужик овраг и мост, а там и всю деревнишку. Как почуяла Сивка двор, сама рысцой взяла. Подъехал Софрон к избе Авдотьиной и крикнул:

– Федюша! Ай, Федюша! На-для?

Но тихо все... Не отзывается мальчуган, знать, еще нету.

– Чудно! Чего ж это он? Неужто в лесу застрял? Волки, что ль, съели? – смеется Софрон. – Были бы волки, так и я бы видал их. А вот Сивка-то шаркнула не от волков ли?! Тоды дрянь дело!..

Распряг Софрон Сивку, поставил во двор, дровни стащил тоже на место, хомут с дугой внес в избу.

«Не спит ли уж?» – подумал мужик, озираясь середь темноты.

– Эй, Федюша, ты тут, что ль?.. Нету... Чудно!

Постоял, постоял Софрон и вышел тихо из избы, почесываясь. Надо ведь идти туда, в лес. Вот оказия, отхватывай опять по морозу две версты, да назад две, да ночью, когда люди спят себе.

Прошел мужик деревню, вот и овраг опять.

Авось, думает, встретится ему паренек.

Ни души на улице, и Федюка нет. Вот и село все прошел. Нету тоже... Ничего не поде-лаешь, надо в лес.

– Чудно! Право слово, чудно! Застрял!..

Поравнялся Софрон с кабаком, там все еще свет. Не ложился еще Миколай Андреяныч.

– Небось деньги считает.

Хотел было мужик мимо кабака пройти по дороге, да ноги пристают, знобит. Умаялся, что ли? Аль мороз горазд не в меру...

– Недужится как-то, ей-ей! Кто его знает, что такое?.. Вот и нутро подводит, ей-богу!.. Выпить надо, выпьешь – пройдет... непременно... вот те Христос!.. Как рукой сымет! – говорит Софрон. – На минуту всего, один шкалик – и готово! Живо до лесу добегу. Эй, Миколай Андреянович, можно, что ли? – стучит уж мужик в окошко.

– Кто тут? – крикнул тот изнутри, заслоня собой свет в окне.

– Я, Софрон! И деньги есть, вот те Христос, – полтина, вот те Христос, сейчас издохнуть, Брюхов дал на чай.

Застучал засов, отворилась дверь, и рослый мужик молча впустил Софрона и опять заперся.

Выпил Софрон стаканчик... Миколай Андреянович ни слова не говорит, прибирает горницу и не гонит. Выпил мужик еще стаканчик, мурашки побежали по телу и светлее будто стало вдруг в кабаке.

– Идти бы надоть, да уж славно больно тут!.. Еще один выпью и пойду. Вот ведь оказия. И чего он это застрял?..

Выпил Софрон третий стаканчик и совсем удивительно стало... Только язык во рту завязать зачал.

– Ахтительно! С морозу в тепло... Расправляет это всего тоись... косточки-то разминаются... ключевая-то... Миколая Андреяновича! – еле-еле вертит языком Софрон. – Душа ты человек, Миколай... Миколаевич... Андреянович... люблю я тебя... Вот... – стучит он кулаком по столу. – Вот я что!.. Я ничего, убей ты меня, Мати Божья, Миколай Андреянович. А ты, ты совсем... ты вот что... Подь ко мне, слышь-ка, Миколай Андреянович, а Миколай... Люблю... И коего я эвто лешего... Где еще пятак?.. Мик... Еще... Давай... Душа ты, душа... Давай, дьявол, еще... Миколашка, черт... Че-о-орт!

Но с четвертого стаканчика у Софрона дух вышибло... Повис он на лавке и заклевал носом, а там бултыхнулся на пол и замычал не по-человечьи.

– Гони энтого ко двору да иди спать, – говорит из-за перегородки баба, проснувшись от крику.

– Это Софрон, – мыкнул целовальник.

– Софрон? При деньгах? Вишь...

– Да. Куцы ж его гнать? Его двор в ухабе, середь улицы. Мороз горазд, подохнет, пушай уж до утра тут.

Потушил скоро хозяин свечу и ушел за перегородку спать. Софрон, раскидавшись на полу, уже мертвым сном спал, намаялся, да и на старые дрожжи много ль надо...

Х

Долго просидел паренек на дереве, ухватившись крепко... Сколько раз принимался он звать Софрона, умаялся и охрип, кричавши, но, кроме его крика, все было мертво кругом.

Волки долго не отходили от дерева, сидели да лежали... поглядывая наверх. Мороз будто все сильнее разгорался и стал пробирать мальчугана... Сначала щипал да кусал его злюче за руки да за лицо, ноги тоже все ломало, и скоро они, будто онемелые, повисли с сука.

– Свежо! Замерзнешь... Господи!..

Прошло еще времени немало, и Федюк понемногу будто по привычке к морозу. Стало ему ничего, не холодно, совсем даже вдруг хорошо стало, будто тепло. Мурашки по телу побежали, будто к печке спиной приложился...

И все-то ему теплее да теплее, знать, вдруг на дворе на оттепель пошло. Только вот в сон клонит, и шибко даже в сон ударяет его. То и дело затуманивает.

«А беда – задремать, к волкам свалишься... А уж как хорошо-то стало...» – думает он.

Хотел мальчуган одну руку принять – не слушается, будто чужая. Хотел ногой двинуть – нельзя. Окостенела. Поглядел он вниз, а волков-то – ни одного. Когда же это он прозевал их? Дремал, что ли, и впрямь? Кажись, нет. Чуть только носом клевал, да все больше за ствол крепче держался, чтобы не свалиться.

«Нету волков, слезать можно, домой убець...»

Да... Вот...»

И хочет мальчуган двинуться, руки от ствола отнять и перехватить ниже, хочет ногу поднять, с сука слезть. И не может... Не слушаются ни руки, ни ноги... Иль уж ему самому не хочется слезать... Будто вот и впрямь самому не хочется, ей-ей! Захоти он руку поднять, вестимо, сейчас поднимет, эко мудрено!.. А он не хочет... Вот что!..

«Хорошо уж больно, теплынь! Двигаться-то неохота...» – думает он.

И опять затуманилось все...

«Волки, волки!» – крикнул кто-то на самое ухо. Встрепенулся мальчуган. Кто кричит?.. Никого нету... Привиделось.

«Нет, слезу, а то задремлешь и впрямь. Что ж тут в лесу? Нешто можно... Ну-тка... с Богом... Не ленися, паря... Не ленися, не ленися...»

Поднял парень сразу руку, сцепился с сука легко и, будто белка, пополз вниз по сукам, и ползет, все ползет... С сука на сук, с сука на сук, и как хорошо, сердце замирает, будто на качелях. Ниже... ниже... ниже... А теплынь-то оттуда, будто паром поддает. Вестимо, в бане завсегда так, а матка еще поддает. «Буде! Уж больно много, взопрел совсем!» – ворчит Федюк на матку. «Так-то лучше, Хфедор, глупая твоя голова. Грязен дюже, отмоешься», – отвечает матка. Но вдруг большущий волк хватить его за ногу со всей мочи.

– Ох, Господи!.. Что ж это?! – очнулся Федюк.

Сидит мальчик на дереве, на том же суку, и все тело в мурашках, не то жарко, не то немота какая одолела, рук и ног нет у него. Видит их, а чьи они?!

– Да ведь я же слезал... Нет, это дрема... А надо ведь слезать... Чего же это я?.. И с чего это я тут на дереве, да в лесу... Чудно... А хорошо... Как хорошо... А надо слезать... долой... ну-тка, руку прежде... Еще... еще... Аль не хочет... Но, но!..

И машет шибко Федюк рукой, кнут-то позабыл, а Сивку одними вожжами не проймешь.

– Но, но, окаянная... Наваливай! Но, но!

Помчалась Сивка вихрем, страсть! Да с маху налетела на пенек и выкинула парня из розвальней торчком в снег.

– Ах ты, окаянная!.. – кричит Федюк с дерева.

А перед ним полянка пустая середь леса, а высокое, далекое небо, в звездах, раскинулось надо всем.

– Дрема... Какая дрема?.. Это тепло все. Небо-то, звездочки-то вишь как прыгают. А уж как мне хорошо, матка. Уж как это хорошо... Уж как... Матка!..

А матка в саях со свояченицей своей катит к нему, да не по дороге лесной, а по маковкам лесным, по воздухам несется... Подкатали сани к Федюку... И осветило мальчугана сиянье нестерпимое... Смотрит, а это не мать, а большущая барыня какая-то подъехала, в золотой бричке.

– Ай да бричка, что тебе иконостас в храме сияет. А кони завиваются, белые, длинные, будто не кони, а холсты сушить вывесили.

– Подь сюда... Иди... – кличут его.

Глядит паренек, из золотой брички манит его уж не та барыня, а барышня. Розовая вся, да какая уж с лица пригожая, да ласковая, да с божеским ликом, да с белыми крылышками.

Потянула она его к себе в сиянье свое, взяла на коленки, одно шелковое крыло распустила над собой высоко, другое загнула и его прикрыла, да прижала к себе на грудочку... Приголубила так-то, да ласкает и шепчет на ушко:

– Федюша, что тебе тут, родненький. Брось... Тамо-тко лучше... Хорошо, хорошохонь-ко там...

Взвились, что ль, кони махом могучим к звездам небесным, аль сама барышня с божеским ликом на крыльях воспарила... Уносит она младенца от мира к мирам, туда, в свою обитель, «идеже нет печали ни воздыханий, а жизнь бесконечная».

XI

Добралась Авдотья с деверем до кума Захара, где шажком, подремывая в розвальнях, а где в горку, по овражкам – пешком. Лошадка, впроголодь службу свою справляющая, еле

ноги тащила. Деверь еще чаще солдатки вылезал, иной раз и на ровном месте, чтобы облегчить своего Гнедка, а в горку так даже вытягивал и помогал ему, шагая около и упираясь в передок саней, да приговаривая:

– Ну-тко ее, еще малость... Но, но! Недалече, еще навали, Гнеденький, еще чуточку.

Приехала Авдотья к куму к вечеру и тотчас получила должок. На радостях кума с деверем и кум с женой распили полштофа и долго до вечера побеседовали о мудреном житье-бытье.

– Вот Маша все выручает, – говорила солдатка. – Аким молоко, творог да сметану берет, в город возит... А то ложись и помирай, ежели б не Маша.

Наконец в десятом часу все спать разлеглись и живо заснули. Скоро уж прихрапывают да присвистывают все, только одна Авдотья середь ночи все вертится, не спится ей, вздыхает да охает. Проснулся да услышал ее и Захар.

– Чего ты? – спрашивает кум.

– Так, не знамо, что деется.

– Зазнобилось, что ли?

– Нетути, куманек, а так не спится, ноет у меня серденько...

– С чего ноет-то?

– Да вот что-то дома, мой-от что? Хфедор!

– Чего ему? Спит, поди, теперь.

– То-то, да. Вестимо, спит... Ночь ведь.

– Ну и тебе спать... Бабы вы!

– Не могу, родный, ноет сильно у меня серденько: что он, мой соколик, теперича... Коро-вушку бы как не увели...

– У вас эдак опасно баловать. У станового под боком, – ворчит Захар.

– Дело-то предпраздничное, и всякому разживиться охота, хотя бы чужим добром. Ноне вишь времена какие.

– Не бойсь, у вас воров нету.

– Нету, нету, какие у нас воров. Господь еще миловал... Этого и в заводе нет.

– Ну вот и спи!

– Не могу, ноет мое серденько.

Захрапел опять Захар. А Авдотье не спится, ворочается она, охает да вздыхает. Кое-как задремала баба под утро уж, и сразу полез к ней сынишка Федюк. Красавец писанный, в тулупчике с оторочкой, кушак да шапка! Ахти мне! Просто он не он!.. Барчонок!

«Матка, я в город! – говорит. – Пусти...»

Не хочется Авдотье отпускать его, да не слушает... Идет. «Родненький! – плачется Авдотья. – Не ходи... Что тебе там? Я тебе анисовый пряник куплю на базаре...» Но не слушает сынишка... Рукой важно таково машет: «Прости, мама, не поминай лихом...» И с глаз чисто сгинул.

Встрепенулась Авдотья, вскочила на лавке и заорала. На дворе светает уж.

– Уж как явственно-то привиделось... И к чему бы это?! – вздыхает баба. – Помилуй нас, Матерь Божия... Чуден сон-от, ох чуден!

Да, чуден этот сон! Авдотья ничего не ведает, а душа-то материнская уж почуяла. Бывает так-то на свете. Частое это дело, и какое это дело – один Господь про то знает.

Раным-рано собралась Авдотья ко двору и в сумерки уж въезжала на село. У кабака Микалая Андреяновича народ галдел, как всегда, и внутри, и на крылечке, и кругом на улице, кто стоя, кто сидя рядом на большущем срубе.

Сочельник – день постный и молитвенный, под великий праздник, когда до звезды даже есть не полагается христианину. А ребята с села все знай льнут к кабаку. Грех, да ничего не поделаешь!..

Проехала Авдотья кабак и вздохнула: ее-то покойник тут все иждивение свое положил, да и помер от пьянства.

Недалече от кабака среди села ковылял кто-то по улице, мотаясь из стороны в сторону... Чуть под лошадь не попал.

– Это Софрон, – говорит солдатка, – ишь как его пошвыривает.

Софрон пропустил розвальни и заорал вслед басом:

– Я вас! Убью-у!.. Не смей меня... Никто!..

Проехали сани, а здоровый пес вылез на пьяный голос и залился... На шее веревка воло-читса за ним, зная, перегрыз да сорвался со двора. Лихо и злюче наскочил он на Софрона, за ноги раза два уж цапнул ловко и кружит. Вертится кругом, а сам заливается хрипло и вот съест живьем готов пьяницу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.